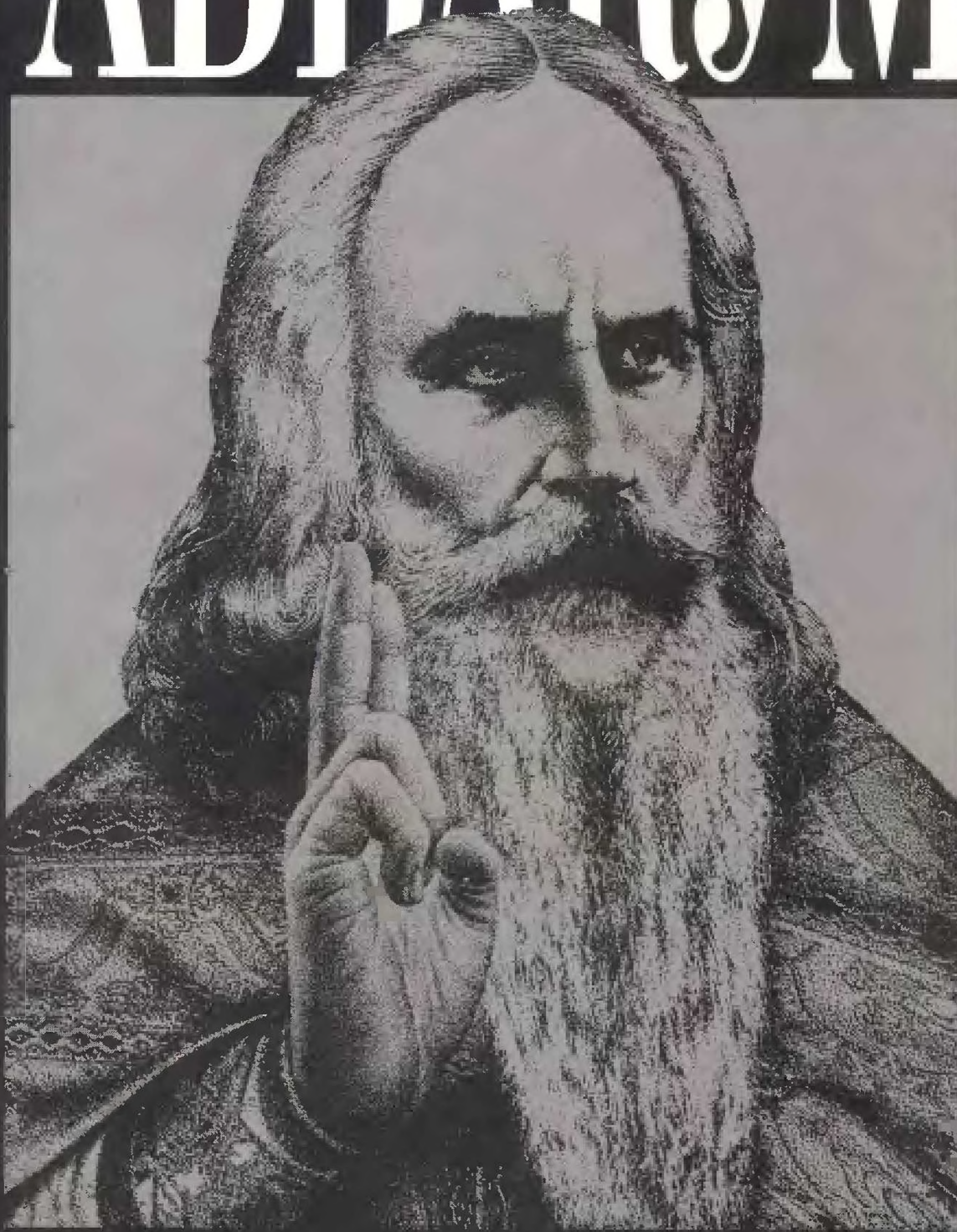


ПРОТОПОП
АВВАКУМ



ЖИТИЕ

ЖИТИЕ ПРОТОПОПА АВВАКУМА

В.А.МЯКОТИН

**ПРОТОПОП АВВАКУМ.
ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

ЗАХАРОВ • МОСКВА • 2002

УДК 882-94
ТБК 105
М 99

*Перевод «Жития протопопа Аввакума»,
сделанный специально для этого издания,
печатается впервые.*

*Биографический очерк В.А.Мякотина
печатается без изменений
по четвертому изданию:
Петроград
«Задруга»
1917*

*Портрет Аввакума
исполнен для этого издания
С.Б.Шеховым*

ISBN 5-8159-0212-8

© Е.Кассирова, перевод древнерусского текста, 2002

© И.Захаров, издатель, 2002

ЖИТИЕ ПРОТОПОПА АВВАКУМА

Аввакум протопоп подвигнут был житие свое написать иноком Епифанием, — ибо инок отец ему духовный, — дабы не было предано забвению дело Божие. И сего ради подвигнут он был во славу Христу Богу нашему. Аминь.

Всесвятая Троица, Боже, мира всего Создатель! Поспеши и направь сердце мое начать с разумом и кончить со благом дело, о коем ныне хочу говорить я, недостойный. Разумея же свое невежество, к Тебе припадаю, молю Тебя и помощи от Тебя прошу: исправь ум мой и утверди сердце мое приготовиться на творение добрых дел, и, просвещенный делами добрыми, на суде Твоем праведником да предстану со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыка, благослови меня помянуть Дионисия Ареопагита рассуждение о именах Божиих, и те, что Богу вечно присущие, истинные и близкие, и те, что причинные, то бишь, хвалебные. Таковы сущие: Сущий, Свет, Истина, Жизнь, только четыре их сущих, а причинных много, таковые они: Господь, Вседержитель, Непостижим, Неприступен, Трисиянен, Триипостасен, Царь Славы, Непостоянен, Огонь, Дух, Бог и прочие подобные.

Того ж Дионисия таковы слова об истине: отказ от себя есть от истины отпадение, ибо истина сущее есть, а коли истина сущее есть, от истины отпадение есть от сущего отказ; а Бог от сущего отпасть не может, и что не есть сущее, того и нет.

Мы же речем: потеряли новообрядцы существо Божие отпадением от истинного Господа, Святого и Животворящего Духа. Ибо согласно Дионисию: коли от истины отпали, тут и от сущего отказались. Бог же от существа Своего отпасть не может, и кто не сущ, того в Боге нет: вечно сущ истинный Бог наш. Лучше бы им в символе веры не называть Бога именем Господь, которое подобает Ему, ни именем Истинный, которое существо Божье в себе содержит. Мы же, правоверные, оба имени исповедуем: и в Духа Святого, Господа истинного и жи-

вотворящего Света нашего, веруем, со Отцом и Сыном поклоняемого, страдаем за Него же и умираем и с помощью всемогущей Его пребываем.

Утешает нас Дионисий Ареопагит, в книге своей тако пишет: тот воистину истинный христианин, кто истину уразумел в Христе и тем Бога познал, и, себя победив, соблазнов мирских не знает, но себя сознает свободным от всякого неверия лживого и не только до самой смерти страдает истины ради, но и умирает не ведая мирского, и в разуме живет, и христиане свидетельствуют о том.

Дионисий научен вере Христовой Павлом-апостолом. Жил он в Афинах и прежде, чем уверовал во Христа, рассчитывал ход светил небесных. А когда уверовал, всё то дерьмом счел. Тимофею он пишет в книге своей, тако говоря: «Дитя, не разумеешь разве, что вся сия внешняя блядь ничто и обман только, тлен и пагуба? Учился я делу, и не обрел ничего, одну тщету нашел». Читающий да разумеет. Рассчитывать бег светил небесных любят гибнущие, ибо любви истинной, чтобы спастись, не имеют; и потому да пошлет им Бог дела лживые, чтобы веровать лжи, и да будут осуждены не веровавшие истине, но благоволившие неправде. Читай «Апостол», 275.

Сей Дионисий, еще не прийдя в веру Христову, во время распятия Господнего был с учеником своим в Солнечном граде и видел: солнце во тьму обратилось, и луна в кровь, и звезды днем на небе черными стали. Он же ученику сказал: «Или конец свету пришел, или Сын Божий страдает». И оттого, что необычно сущее изменилось, в недоумении был. Тот же Дионисий пишет о знаменьи солнечном, когда затмевается солнце: есть на небе пять блуждающих звезд, которые зовутся лунами. Сим лунам Бог движение дал, как и прочим звездам, и обходят они всё небо, знамение творя или о гневе, или о милости, когда движутся по обычаю. А когда блуждающая звезда, луна то есть, пойдет к солнцу от запада и закроет свет солнечный, то солнечное затмение как гнев Божий людям бывает. Когда же от востока луна идет, то ходом своим закрывает солнце обыкновенно.

А у нас в России было знамение: солнце затмилось в 1654 году, перед мором за месяц или меньше. Плыл Вол-

гой-рекой архиепископ Симеон Сибирский, и в полдень тьма настала, перед Петровым днем недели за две. И они часа три с плачем у берега стояли; солнце померкло, луна от запада шла. Согласно Дионисию, являла Божий гнев людям. В то время Никон-отступник веру и законы церковные искажал, и сего ради Бог излил чашу гнева и ярости своей на Русскую землю. Великий мор был, по сию пору не забыли, все помним.

Минуло потом годов четырнадцать, и опять затмение было; в Петров пост, в пятницу, в шестой час, тьма сделалась; солнце померкло, луна опять от запада шла, являя гнев Божий. И протопопа Аввакума, бедного горемыку, в то время с прочими остригли в соборной церкви власти и на реке Угреше в темницу, прокляв, бросили. Верный Богу разумеет, что делается в земле нашей за неправду церковную. И полно о том говорить. В день Страшного Суда все узнают о том, а до тех времен потерпим.

Тот же Дионисий пишет о знамении солнечном, которое было в Израиле при Иусе Навине. Когда Иус бил иноплеменников и стояло солнце перед Гаваоном на юге, встал Иус крестообразно, то есть руки свои распростер, и солнце остановилось и стояло, пока враги не погибли. И возвратилось солнце к востоку, то бишь, назад отошло, и дольше, чем надо, шло, и было в том дне и в той ночи тридцать четыре часа, ибо в десятый час отошло; так, в сутках десять часов прибыло. И при Езекии-царе было знамение: пошло солнце вспять в двенадцатом часу дня, и было в том дне и в ночи тридцать шесть часов. Читай книгу Дионисиюву, в подробностях там узнаешь.

Он же, Дионисий, пишет о небесных силах, описывает, возвещая, как хвалу Богу приносят, разделяя девять чинов на три троицы. Первая троица, серафимы и херувимы, освящение от Бога принимают и так восклицают: благословенна слава месту Господню! И через них приходит освящение на вторую троицу, которая от Господа, начала и власти. Сия троица, славословя Бога, восклицает: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! По алфавиту, аль — Отцу, иль — Сыну, уйя — Святому Духу. Григорий Нисский толкует: аллилуйя — хвала Богу. А Василий Великий пишет: аллилуйя — ангельская речь, а речь человеческая —

слава Тебе, Боже! До Василия была в церкви ангельская речь: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Когда же пришел Василий, то повелел петь два раза ангельски, один человечески, то бишь, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! У обоих святых, у Дионисия и у Василия, так: с ангелами славим Бога, трижды воспевая, а не четырежды, как в римской мерзости. Мерзко Богу четырехкратное такое воспевание: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Да будет проклят тако поющий.

Однако к началу возвратимся. Третья троица, силы небесные, архангелы, ангелы, через среднюю троицу освящение приемля, поют: свят, свят, свят, Господь Саваоф, наполни небо и землю славою Твоею! Смотри: трехкратно и сие воспевание. Пространно Пречистая Богородица протолковала об аллилуйе, явившись ученику Ефросина Псковского, по имени Василий. Велика во аллилуйе хвала Богу, а от злоумудрствующих велика неправда: они по-римски Святую Троицу четырежды поют, а так же и от Сына исхождение Святого Духа являют; скверно и проклято Богом и святыми такое мудрствование. Правверных избави Боже от сих мыслей злых о Христе Иусе, Господе нашем, слава ему ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Афанасий Великий говорит: кто хочет спастись, соблюсти должен христианскую веру, а кто не соблюдает ее в целости и непорочности, тот и во лжи живет, и погибнет навеки. Вера же христианская такова, что единого Бога в Троице почитаем, а Троицу разумеем единой, неслиянной и нераздельной; ибо составляют Ее и Отец, и Сын, и Святой Дух; и Отца, и Сына, и Святого Духа едино божество, и равна Их слава, и безначально, и бесконечно величие; каков Отец, таков и Сын, и таков и Дух Святой; вечен Отец, вечен Сын, вечен и Дух Святой; не создан Отец, не создан и Сын, не создан и Дух Святой; Бог Отец, Бог Сын, Бог и Дух Святой — не три бога, но один; не трое не созданы, но один не создан, один вечен. А так же: Вседержитель отец, Вседержитель Сын и Вседержитель Дух Святой. Однако не три Вседержителя, но один; не трое непостижимых, но один непостижимый, один предвечный. И в сей Святой Трои-

це нет ни первого, ни последнего, ни большего, ни меньшего, но в цельности своей каждый и предвечны и равноценны все трое. В отдельности же Отец не рожден, Сын рожден, а Дух Святой от Отца исходит; общее у Них божество и царство.

Надо бы побеседовать и о вочеловечении Иисуса Христа ради вашего спасения. Как благо щедрое изошел Иисус от отцовых недр в деву чистую богоотроковицу, когда время пришло, и воплотился от Святого Духа и Марии-девы, и вочеловечился, и ради нас пострадал, и воскрес в третий день, и на небо вознесся, и сел одесную Отца на небесах, и желает вернуться судить и воздать каждому по делам его. И царству Его не будет конца. И таков был промысел прежде даже сотворения Адама, и прежде времён.

«Совет Отеческий»

Сказал Отец Сыну: «Сотворим человека по образу Нашему и подобию». И ответил Сын: «Сотворим, Отче, и да согрешит». А Отец сказал: «О единородный Мой! О Свете Мой! О Сыне и Слове! О сияние Моей славы! Если печешься о созданных Своих, подобает Тебе облечься в тленного человека, подобает Тебе по земле ходить, апостолов принять, пострадать и всё совершить». И ответил Сын: «Да будет, Отче, воля Твоя!» И после того сотворен был Адам. А кто хочет в подробностях знать, тот читай «Маргарит»: «Слово о вочеловечении»; там и найдешь. Я кратко помянул, промысел показав. Кто верует в него, не постыдится, а кто не верует, осужден будет и погибнет навек, согласно Афанасию. Тако я, протопоп Аввакум верую, тако исповедую, с тем живу и умираю.

Родился я в нижегородской земле за Кудьмой-рекой в селе Григорове. Отец мой — священник Петр, мать — Мария, в монашестве Марфа. Отец был охоч до хмельного пития, матушка постница и молитвенница, растила меня в страхе Божием. Увидал я однажды у соседа скотину помершую и, ночью встав, сильно плакал о душе своей, поминая о смерти и о том, что тоже помру; и с тех

пор привык по ночам молиться. Потом мать овдовела, а я осиротел рано и гоним был родичами.

Изволила мать меня женить. И молился я Пресвятой Богородице, чтоб дала мне помощницу ко спасению. И была в том же селе девица сирота, привыкла в церковь беспрестанно ходить, имя ей Анастасия. Отец ее был кузнец, именем Марко, богат гораздо. А когда помер, истощилось богатство. И жила она в скудости, и Богу молилась, и со мной сочеталась узами брачными; и было тако по воле Божьей. Потом мать к Богу отошла, в подвиге монашеском. А я, как родня изгнала, переселился в иное место.

Рукоположен был во дьяконы двадцати одного году, а через два года поставлен в попы; в попах прожил восемь лет, потом протопопом сделали меня православные епископы — тому двадцать лет минуло; и всего тридцать лет, как священствую.

А когда я в попах был, то имел у себя духовных детей много — было их за всё время сотен пять-шесть. Не спал я грешный, трудился в церквях, и в домах, и на распутье, по городам и сёлам, а еще в царствующем граде и в земле Сибирской, проповедуя и уча слову Божию, и так годов двадцать пять.

Когда еще я в попах был, пришла ко мне исповедаться девица, многими грехами обремененная, в блудном деле и разврате повинная; начала мне подробно возвещать о том в церкви, перед Евангелием стоя. Я же, окажанный врач, сам разболелся, разжегся внутри блудным огнем, и горько мне стало в тот час: зажег я три свечи, прилепил к аналою, возложил руку правую на пламя и держал, пока не угасло во мне злое жженье, и, отпустив девицу и сложив ризы, помолился и пошел в дом в сильной скорби. А как полночь настала, вернулся в свою избу и плакал перед образом Господним, аж очи опухли, и молился прилежно, чтобы не отлучил меня Господь от духовных детей: ибо бремя это тяжело, неудобно.

И пал я на землю на лицо свое, рыдая горько, забылся и лежал; и в забытии плакал, и привиделась мне река Волга. Вижу: плывут стройно два корабля золотых, и вёсла золотые, и шесты золотые, и всё золотое, но один

только кормщик из людей. И я спросил: «Чьи корабли?» И он отвечает: «Луки и Лаврентия». А были это мои духовные дети, они меня и дом мой наставили на путь спасения и скончались богоугодно. А потом вижу третий корабль, не золотом украшенный, но разными пестротами, и красным, и белым, и синим, и черным, и пепельным — ум человеческий не вместит всей красоты и ладности; светлый юноша, на корме сидя, правит; бежит он на меня из-за Волги, точно сожрать меня хочет. И я вскричал: «Чей корабль?» И сидящий на нем отвечал: «Твой корабль. Да, плавай на нем с женой и детьми, коли невмоготу!» И затрепетал я, и сев рассуждаю: «Что за видение? И что плавание означает?»

И вскорости, как по писанному, одолели меня болезни смертные, беды адские со мной случились: познал я скорбь и болезнь. У вдовы начальник отнял дочь, и я молил его, чтоб вернул сиротину матери, а он презрел молитвы наши и наслал на меня бурю, пришла толпа и у церкви меня задавили. Пролежал я запертво полчаса и больше и снова Божьей волей ожил. И он, устращась, отступился ради меня от девицы. Потом научил его дьявол: пришел в церковь, бил и волочил меня в рясе за ноги по земле, а я молитву говорю в то время.

Потом начальник в другой раз на меня рассвирепел, прибежал ко мне в дом, бил меня и у руки отгрыз пальцы, как пёс, зубами. И когда глотка его наполнилась кровью, руку мою отпустил из зубов и, покинув меня, пошел в дом свой. Я ж, поблагодарив Бога, завертел руку платком и пошел к вечерне. И, когда шел, дорогой наскочил на меня он снова с двумя малыми пищалями и близь меня запалил из пистолы, и Божьей волей на полке порох пыхнул, а пищаль не выстрелила. Он же бросил пищаль на землю и из другой опять запалил так же, и Божья воля учинила так же, — и та пищаль не выстрелила. А я прилежно, идучи, молюсь Богу и одной рукой осенил его и ему поклонился. Он на меня лает, а я ему сказал: «Благодать во устах твоих, Иван Родионович, да будет!» Потом он дом у меня отнял, меня выгнал, всего ограбив, и на дорогу денег не дал.

В то же время родился у меня сын Прокопий, который сидит ныне с матерью в земле закопанный. Взял я клю-

ку, а мать — некрещенного младенца, и побрели, куда Бог наставит, и на пути крестили, как некогда апостол Филипп евнуха. А когда прибрел я в Москву, к духовнику протопопу Стефану и протопопу Ивану Неронову, известили они обо мне царя, и государь меня стал знать с того времени. А отцы послали меня с грамотой опять на старое место, и я притащился: а уж и стены моих храмин разорены. И опять я обжился, а дьявол и опять наслал на меня бурю.

Пришли в село мое плясовые медведи с бубнами и домрами: и я, грешник, о Христе ревнуя, изгнал их, и хари, и бубны изломал на поле один у многих, и медведей двух больших отнял, — одного ушиб, но тот снова ожил, а другого отпустил в поле. И за то Василий Петрович Шереметев, плывя Волгой в Казань на воеводство, взяв меня на судно и браня много, велел мне благословить сына своего бритого Матфея. А я не благословил, но по писанию порицал, видя блудолюбивое его лицо. Боярин же, очень осердясь, велел меня бросить в Волгу и много мучили меня, и били. А потом сделался он ко мне добр: у царя в сенях просил у меня прощения, а брату моему меньшому боярыня Шереметева духовною дочерью стала. Так-то Бог устраивает своих людей!

На первое возвратимся. Потом начальник на меня рассвирепел: приехал с людьми ко двору моему, стрелял из луков и из пищалей с приступом. А я в то время запершись молился с воплем ко Владыке: «Господи, укроти его и примири, Сам знаешь как!» И побежал он от двора, гонимый Святым Духом. Потом ночью прибежали от него и зовут меня со многими слезами: «Батюшко-государь! Ефимий Стефанович кончается и кричит неудобно, бьет себя и охает, а сам говорит: «Дайте мне батюшку Аввакума! За него Бог меня наказует!»

Чаял я, меня обманывают; ужаснулся дух мой во мне. И Богу я тогда тако помолился: «Ты, Господи, вывел меня из чрева матери моей и из небытия в бытие привел! Если задушат меня, причти меня к Филиппу, митрополиту московскому; если зарежут, причти к Захарии-пророку; а ежели в воду посадят, то как Стефана Пермского тоже почитай». И молясь поехал в дом к нему, Ефимию.

А когда привезли меня на двор, выбежала жена его Неонила и ухватила меня под руку, а сама говорит: «Приди-тко, государь наш батюшка, приди-тко, свет наш кормилец!» А я ей на это: «Чудно! Давеча был я блядин сын, а теперь батюшка! Чай, остра у Христа-то плеть: скоро муж твой повинился!» Ввела меня в горницу. Вскочил с перины Ефимий, пал мне в ноги, вопит благим матом: «Прости, государь, согрешил пред Богом и пред тобою!» А сам дрожит весь. И я ему на то: «Хочешь ли впредь живым быть?» Он же лёжа отвечает: «Хочу, честный отче!» И сказал я: «Встань! Бог простит тебя!» Он же, наказан гораздо, не смог сам встать. И я поднял и положил его на постель, и исповедал, и маслом священным помазал, и он выздоровел. Так Христос изволил. И наутро отпустил он меня мирно в дом мой; и стали они с женой мне детьми духовными, добрыми рабами Христовыми. Так-то Господь гордым противится, смиренным же дает благодать.

Вскорости он опять согнал меня с того места. И поволокся я в Москву, и Божиею волею велел государь поставить меня в протопопы в Юрьевец-Поволский. Я и тут пожил немного — только восемь недель.

Дьявол научил попов, мужиков и баб — пришли они к патриархову приказу, где я дела духовные делал и, вытащив меня из приказа сообща — человек с тысячу и с полторы их было, — среди улицы били палками и топтали; и бабы били ухватами. Грехов моих ради, убили чуть не до смерти и бросили под избной угол. Воеводы с пушкарями прибежали и, схватив меня, на лошади умчали в мой дворишко; и пушкарей воевода около двора поставил. А люди ко двору приступают, и по граду молва велика. Особливо ж попы и бабы, которых я унимал от блуда, вопят: «Убьем вора, блядина сына, да и тело собакам в ров кинем!»

Я же, отдохнув, в третий день ночью покинул жену и детей и по Волге с двумя товарищами ушел к Москве. В Кострому прибежал — а и тут протопопа Даниила изгнали. Ох, горе! Везде от дьявола житья нет! Прибрел в Москву, духовнику Стефану показался. И он на меня опечалился: на что-де церковь соборную покинул? Опять мне другое горе: царь пришел к духовнику ночью благосло-

виться. Меня тут увидел — опять кручина: на что-де город покинул? А жена, и дети, и домочадцы человек с двадцать в Юрьевце остались: неведомо — живы, неведомо — убиты! И тут горе.

Потом Никон, друг наш, привез из Соловков останки Филиппа митрополита. А прежде его приезда Стефан духовник молил Бога и постился неделю с братьей — и я с ними тут же — о патриархе, чтоб дал Бог пастыря ко спасению душ наших. И написали мы с митрополитом Казанским челобитную с подписями и подали царю и царице — о духовнике Стефане, чтоб быть ему в патриархах. Стефан же не захотел и указал на Никона митрополита. Царь его и послушался, и послал ему посланье о встрече: «преосвященному, мол, митрополиту Никону Новгородскому и Великолуцкому и всея Руси радуйтесь», и прочее. И Никон, когда приехал, был с нами, как лиса: наше вам да здравствуйте! Знал, что быть ему в патриархах, только б помеха какая не учинилась.

Хватит о тех кознях говорить! Когда поставили его патриархом, так друзей не стал и в Крестовую пускать! А скоро и яд отрыгнул. В Пост Великий прислал памятку в Казанскую к Неронову Ивану. Иван мне отец духовный был. Я у него всё и жил при церкви: когда куды отлучиться, в церкви я за него. Меня и к месту прочили, в церковь дворцовую, Спаса-на-Бору, на место Силы покойного, а Бог не изволил. Да и я хлопотал плохо. Любо мне было в Казанской, народу книги читал. Много людей приходило. А в памятке Никон писал: «Год и число. По преданию святых апостолов и святых отцов не подобает в церкви творить поклоны на коленях, но в пояс бы вам творить поклоны, а еще тремя перстами креститься». Мы ж, сойдясь меж собой, задумались; чуем, быть зиме; сердце озябло, ноги дрожат. Неронов оставил мне церковь, а сам скрылся в Чудов и неделю в келейке молился. И там ему от иконы голос был во время молитвы: «Время пришло страдания, подобает вам неослабно страдать!» Он мне о том плача сказал. Потом сказал коломенскому епископу Павлу, которого Никон после огнем сжег в новгородской земле; потом Даниле сказал, костромскому протопопу; потом и всей братье сказал. Мы же с Данилой написали

из книг выписки о сложении перстов и поклонах и подали государю; много написали; государь же, не знаю где, скрыл их: сдается мне, Никону отдал.

После того вскоре схватил Никон Даниила, в монастыре за Тверскими воротами, при царе остриг голову и, содрав кафтан и ругая, отвел в Чудов монастырь в хлебопекарню, и, муча много, сослал в Астрахань. Венец терновый на голову ему там возложили и в земляной тюрьме уморили. А после, как остригли Данилу, взяли другого, темниковского, Даниила же, протопопа и посадили в монастыре у Спаса на Новом. Потом и протопопа Неронова Ивана, в церкви скуфью с него сняв, посадил Никон в Симонов монастырь, а после сослал его в Вологду, в Спасов Каменный монастырь, потом в Кольский острог. А напоследок, по многом страдании, изнемог Неронов, бедный, — принял три перста, да так и умер. Ох, горе! Всяк, кто мнит, что устоит, поберегись, чтоб не упасть! Люто время, по слову Господню, когда возможно духу антихристову соблазнить и избранных. Весьма крепко надобно Богу молиться, да спасет и помилует нас, яко благ и человеколюбец.

Потом взяли меня от всенощной Борис Нелединский со стрельцами; человек со мною шестьдесят взяли: их в тюрьму отвели, а меня на патриарховом дворе на цепь посадили ночью. Когда ж рассвело в воскресенье, посадили меня на телегу, растянули руки и повезли от патриархова двора до Андроньева монастыря, и тут на цепи кинули в темную клетушку под землей, и сидел я три дня, не ел, не пил; во тьме сидя, кланялся на цепи, не знаю — на восток, не знаю — на запад. Никто ко мне не приходил, только мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно.

На третий день взалкал, то бишь, есть захотел, и после вечерни встал предо мной, не знаю — ангел, не знаю — человек, и по сей день не знаю, только в потёмках молитву сотворил и, взяв меня за плечо, с цепью к лавке привел и посадил, и ложку в руки дал, и хлебца немножко, и щец дал похлебать — весьма вкусны, хороши! — и сказал мне: «Полно, хватит с тебя для укрепления!» Да и не стало его. ~~Двери не отворились~~, а его не

стало! Дивно только человеку; а что ж ангел? И нечему дивиться — везде ему не загорожено.

Наутро архимандрит с братией пришли и вывели меня; журят мне: «Что патриарху не покоришься?» А я по писанию его браню да лаю. Сняли большую цепь, да маленькую наложили. Отдали меня чернецу под начало, велели волочить в церковь. У церкви за волосы дерут, под бока толкают, и за цепь трогают, и в глаза плюют. Бог их простит в сей век и в будущий: не их то дело, но сатаны лукавого. Сидел тут я четыре недели.

В то время после меня взяли Логина, протопопа муромского: в соборной церкви при царе остригли в обедню. Во время переноса Святых Даров снял патриарх с головы у архидьякона дискос с Телом Христовым и поставил на престол; а с чашею архимандрит чудовский Ферапонт еще вне алтаря при дверях царских стоял. Увы, сие рассечение Тела Христова злей жидовского действия! Остригши, содрали с него однорядку и кафтан. Логин же разжегся ревностию божественного огня, Никона порицая, и через порог в алтарь в глаза Никону плевал; распоясался, схватил с себя рубашку, в глаза Никону бросил; и чудно! растопырилась рубашка и покрыла на престоле дискос, будто покров. А в то время и царица в церкви была. На Логина возложили цепь и, таща из церкви, били мётлами и плетьюми до Богоявленского монастыря, и кинули в келейке голого, и стрельцов на карауле поставили накрепко стоять. Ему ж Бог дал в ту ночь шубу новую да шапку; и наутро Никону сказали, а он рассмеялся и говорит: «Знаю я, судари мои, пустосвятов этих!» — и шапку у него отнял, а шубу ему оставил.

Потом опять меня из монастыря свели пешего на патриархов двор, так же руки растянув, и много спорили со мною, и так же назад отвели. Потом в Никитин день крестный ход был, а меня опять на телеге везли против крестов. И привезли к соборной церкви стричь, и держали в обедню на пороге долго. Государь с места сошел и, приступив к патриарху, за меня упросил. Не стригши, отвели в Сибирский приказ и отдали дьяку Третьяку Башмаку, что ныне тоже страдает Христа ради, старец Саватей он в монашестве, сидит в Новом, в земляной же тюрьме. Спаси его, Господи! И тогда мне делал добро.

Потом послали меня в Сибирь с женою и детьми. И сколько в дороге бед было, того всего не пересказать, разве что малую часть помянуть. Протопопица младенца родила, — так ее, больную, в телеге и повезли до Тобольска и три тысячи вёрст недель с тринадцать волокли телегами по воде, и на санях половину пути.

Архиепископ в Тобольске к месту устроил меня. Тут в церкви великие беды меня постигли: в полтора года пять слов государевых сказывали на меня, и один некто, архиепископова двора дьяк Иван Струна, тот и душу из меня вынул. Съехал архиепископ к Москве, а он без него дьявольским наущением напал на меня: в церкви моей дьяка Антония мучить напрасно захотел. Он же, Антон, утёк от него и прибежал ко мне. А этот Иван Струна собрал людей, и в другой день пришел ко мне в церковь, — а я вечерню пою, — вбежал в церковь и ухватил Антона на клиросе за бороду. А я тогда двери церковные затворил и замкнул, и никого не пустил, — и он один, Струна, в церкви вертится, что бес. И я, прервав вечерню, с Антоном посадил его среди церкви на полу и за церковный мятеж постегал его ремнем нарочито-таки; и прочие, человек двадцать, все побежали, гонимые Духом Святым. И, покаяние от Струны приняв, опять отпустил его к себе. Родня же Струнина, попы и чернецы, по всему городу кричали, что погубят меня. И в полночь привезли сани ко двору моему, ломились в избу, желая меня взять и в воду свести. И Божьим страхом отогнаны были, и побежали обратно. Мучился я с месяц, от них бегал таясь: иной раз в церкви ночую, иной к воеводе уйду, а иной в тюрьму просился — да не пускали. Провожал меня часто Матвей Ломков — он в чернецах Митрофаном зовется, — после на Москве у Павла митрополита ризничим был, в соборной церкви с дьяконом Афанасием меня стриг; прежде добр был, а ныне дьявол его поглотил.

Потом приехал архиепископ с Москвы и поделом его, Струну, на цепь посадил вот за что: некий человек с дочерью кровосмешение сотворил, а он, Струна, полтину взяв и не наказав, отпустил. И владыка его сковать приказал и мое дело то же припомнил. Он же, Струна,

ушел к воеводам в приказ и сказал «слово и дело государево» на меня. Воеводы отдали его сыну боярскому лучшему, Петру Бекетову, который приставом был. Увы, гибель на двор Петру пришла. Тут тоже горе душе моей есть. Подумал архиепископ со мною и по правилам за вину кровосмешения стал Струну проклинать в неделю православия в церкви соборной. А тот Бекетов пришел в церковь, браня архиепископа и меня, и тут же из церкви вышел и взбесился, ко двору своему идучи, и умер горькой смертью злой. И мы с владыкой приказали тело его среди улицы собакам бросить, чтоб оплакали граждане согрешения его. А сами мы три дня прилежно молились Богу, чтоб простилось ему в Судный день. Жалея Струну, такую себе Бекетов пагубу принял. И через три дня владыка и мы сами честное тело его погребли. Полно о том плачевном деле говорить.

Вскоре указ пришел: велено меня из Тобольска на Лену везти за то, что браню по писанию и укоряю ересь Никонову. После пришла ко мне с Москвы весточка. Два моих брата жили у царицы во дворце, а оба умерли в мор, и с женами и с детьми; и многие друзья, и родичи помёрли. Излил Бог на царство чашу гнева своего! А не распознали горюны однако, баламутят церковь. Говорил тогда и пророчил Неронов царю три пагубы за церковный раскол: мор, меч, разделение. Забылось это ныне. Но милостив Господь: наказав, покаяния ради и помилует нас, прогнав болезни душ и тел наших, и тишину подаст. Уповаю и надеюсь на Христа, ожидаю милосердия его и чаю воскресения мертвых.

И опять я сел на корабль, кой видел во сне, о чем выше сказал, — поехал на Лену. А как приехал в Енисейский острог, другой указ пришел: велено в Дауры вести — двадцать тысяч и больше будет от Москвы. И отдали меня Афанасью Пашкову в полк — людей с ним было шестьсот человек; и грехов ради моих суровый он был человек: беспрестанно людей жег, и мучил, и бил. И я его много уговаривал, да и сам в руки к нему попал. А из Москвы от Никона приказано ему было мучить меня.

Когда поехали из Енисейска, в большой Тунгуске-реке в воду загрузило бурею дощаник мой совсем: налил-

ся среди реки полон воды, и парус изорвало, — одни палубы над водою, остальное в воду ушло. Жена моя на палубы из воды ребят кое-как вытащила, простоволосая вся. А я, на небо глядя, кричу: «Господи, спаси! Господи, помоги!» — и Божиею волею прибило к берегу нас. Полно о том говорить! На другом дощанике двух человек сорвало и утонули в воде. Потом оправились мы на берегу и опять поехали далее.

Когда приехали на Шаманский порог, на встречу приплыли люди некие к нам, а с ними две вдовы — одна лет шестьдесят, а другая и больше: плывут постричься в монастырь. А он, Пашков, стал вдов назад вертать и хочет замуж отдать. И я ему говорю: «По правилам не подобает таковых замуж давать». И что бы ему, послушавшись, вдов отпустить, а он вздумал мучить меня, осердясь. На другом, Долгом, пороге, стал меня из дощаника гнать: «Из-за тебя-де, дощаник худо идет! Еретик-де ты! Поди-де по горам, а с казаками не ходи!»

О, горе! Горы высокие, дебри непроходимые, утёс каменный, как стена стоит, и поглядеть — шею сломишь! В горах тех обретаются змеи великие; в них же витают гуси и утицы краснопёрые, вороны черные, а галки серые; в тех же горах орлы, и соколы, и кречеты, и куры индейские, и пеликаны, и лебеди, и иные дикие — многое множество — птицы разные. На тех же горах гуляют звери многие дикие: козлы, и олени, и изюбры, и лоси, и кабаны, волки, бараны дикие — видит око, да зуб неймет! На те горы гнал меня Пашков, со зверьми и со змиями, и со птицами витать.

И я ему письмецо написал, тако начиналось: «Человеке! Убойся Бога, сидящего на небесах и глядящего в бездны, Коего трепещут небесные силы и вся тварь и человеки, один ты презираешь и сомнение показуешь», — и прочее: там многонько писано; и послал ему. И вот бегут человек с пятьдесят: взяли мой дощаник и к нему помчали, — он версты три от Пашкова стоял. Я казакам каши наварил, да кормлю их; и они, бедные, и едят и дрожат, а иные, глядя, плачут обо мне, жалеют меня.

Привели дощаник; взяли меня палачи, привели к нему. Он со шпагою стоит и дрожит; начал мне говорить: «Поп

ли ты, или расстрига?» И я отвечал: «Я Аввакум протопоп; говори: что тебе за дело до меня?» Он же рыкнул, как дикий зверь, и ударил меня по щеке, потом по другой, и еще по голове, и сбил меня с ног, и, чекан ухватя, лежащего по спине ударил трижды и, раздев, по той же спине дал семьдесят два удара кнутом. А я говорю: «Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помогай мне!» Да то ж, да то ж беспрестанно говорю. И горько ему, что не говорю: «Пощади!» Ко всякому удару молитву говорил, да посреди побоев вскричал я к нему: «Полно бить-то!» Тогда он велел перестать. И я промолил ему: «За что ты меня бьешь? Ведаешь ли?» И он опять велел бить по бокам; наконец отпустили. Я задрожал, да и упал. И он велел меня в казенный дощаник оттащить: сковали руки и ноги и на перекладину кинули. Осень была, дождь шел, всю ночь под капелью лежал.

Как били, так не больно было с молитвою тою; а лежа, на ум взбрело: «За что Ты, Сыне Божий, попустил ему так больно побить меня? Я ведь за вдов Твоих стал! Кто даст судью между мной и Тобой? Когда худое творил я, и то меня не так оскорблял, а ныне не знаю, в чем согрешил!» И вроде б человек я! А сам как фарисей с говенною рожею, — со Владыкой судиться захотел! Если Иов и говорил то же, так он праведен и непорочен, а что писания не ведал и был вне закона Христова в стране варварской, так он от твари Бога познал. А я, во-первых, грешен, во-вторых, в законе пребываю и писанием всюду подкрепляем о том, как многими скорбями подобает нам войти в царство небесное; а к такому безумию пришел! Увы мне! Как дощаник-то в воде не утоп со мною? Стало у меня в те поры кости-то щемить и жилы тянуть, и сердце зашло, да и умирать стал. Воды мне в рот плеснули, так вздохнул да покаялся пред Владыкою, и Господь-свет милостив: не поминает наших прежних беззаконий ради покаяния; и опять болеть перестало.

Наутро кинули меня в лодку и вперед повезли. Когда приехали к порогу, к самому большому, Падуну, — река в том месте шириною с версту, три уступа через всю реку сильно круты, и что не воротами поплывет, то они в щепки изломают, — меня привезли под порог. Сверху

дождь и снег, а на мне на плечи накинут кафтанишко простой; льет вода по брюху и по спине, — мука была большая. Из лодки вытащив, по камням скованного вдоль порога тащили. Больно весьма, да душе хорошо. Не пел уж на Бога теперь. На ум пришли речи, пророком и апостолом реченные: «Сын мой, не обессиль от наказания Господнего и не ослабей, Им обличаемый. Кого любит Бог, того наказует; бьет же всякого сына, какого приемлет. Если наказание терпите, тогда как сынов обретает вас Бог. А если без наказания приобщаетесь Ему, то выблядки вы, а не сыны». И сими речами тешил себя.

Потом привезли в Братский острог и в тюрьму кинули, соломки дали. И сидел до Филиппова поста в студёной башне; там зима в те поры живет, да Бог грел и без платья! Как собачка, в соломке лежу: когда накормят, когда и нет. Мышей было много, я их скуфьею бил, — и хворостинки не дадут, дурачки! Всё на брюхе лежал: спина гнила. Блох да вшей было много. Хотел у Пашкова прощения просить, да сила Божья не дала, — велено терпеть. Перевел он меня в теплую избу, и я тут с заложниками из тамошних инородцев и с собаками жил скованным всю зиму. А жена с детьми верст за двадцать была сослана от меня. Баба, Ксения, мучила ее всю зиму — лаяла да укоряла. Сын Иван — невелик был — прибрел ко мне побывать после Христова Рождества, а Пашков велел кинуть в студёную тюрьму, где и я сидел: ночевал милый и замерз было в ней. И наутро Пашков опять велел его к матери отправить. Я его и не видал. Приволокся он к матери — руки и ноги застудил.

По весне снова поехали вперед. Скарбу мало осталось; прежний разграблен весь: и книги, и одежда иная отнята была; а иное и осталось. На Байкальском море снова тонул. По реке Хилок заставил он меня лямку тянуть: сильно тяжел ход по ней был, — и поесть было недосуг, ни даже спать. Лето целое мучились. От водяных трудов люди гибли, а у меня ноги и живот посинели. Два лета мы в водах бродили, а зимами с реки на реку сушей через волок волочились. На том же Хилке в третье лето тонул. Барку от берега оторвало водою, — люди стоят, а мою схватило, да и понесло! Жена и дети остались на

берегу, а меня с кормщиком помчало. Вода быстрая, переворачивает барку вверх боками и дном; а я на ней ползаю, а сам кричу: «Владычица, помоги! Упование, не утопи!» То ноги в воде, то выползу наверх. Несло с версту и больше; да люди перехватили. Всё размыло до крохи! Да что поделаешь, коли Христос и Пречистая Богородица изволили так? Я, выйдя из воды, смеюсь, а люди то охают, платье мое по кустам развешивая, да шубы атласные и тафтяные, да кое-какие безделицы, их много было еще в чемоданах, да в сумах; всё с того времени перегнило, — наги мы стали. А Пашков хочет меня опять бить: «Ты-де из себя посмешище делаешь!» И я опять Пресветлой Богородице докучать: «Владычица, уйми дурака-то!» И она-надёжа уняла: стал он обо мне тужить.

Потом доехали до Иргеня-озера: тут по суше был волок, — стали зимою волочиться. Моих работников Пашков отнял, а другим ко мне наняться не велит. А дети маленькие были, едоков много, а работать некому: один бедный горемыка-протопоп, нарты я сделал и зиму всю волочился через волок. Весною на плотях по Ингоде-реке поплыли вниз. Четвертое лето после Тобольска было плаванью моему. Лес гнали для домов и стен крепостных. Стало нечего есть. Люди стали от голода помирать и от тасканья тяжкого по воде. Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие, — огонь да дыба, люди голодные: едва кого станут мучить — тотчас умрет! Ох, времена! Не знаю, когда Пашков этот ума лишился. У протопопицы моей однорядка московская была, не сгнила, — на Руси рублей в двадцать пять и больше, а тут — дал он нам четыре мешка ржи за нее, и мы год-другой перемогались, на Нерче-реке живя и травой питаюсь. Всех людей с голоду поморил, никуда не отпускал промышлять, — только и было тут небольшое место; по степям скитаясь и по полям, траву и коренья люди копали, а мы — с ними же; а зимою — кобылятины Бог даст, кости зверей находили, коих волки сгрызли, — и что волк не доест, мы то доедим. А иные и самих мерзлых волков ели и лисиц, и что найдут — всякую падаль.

Кобылка жеребенка родит, а голодные тайком и жеребенка, и место скверное кобылье съедят. Пашков сведа-

ет и кнутом до смерти забьет. А когда кобыла умерла, — опять людей бил, ибо не по чину жеребенка того вытащили из нее: лишь голову высунул, а они и выдернули, да и стали кровь скверную есть. Ох, времена! И у меня два сына маленьких умерли в муках тех, а с прочими, скитаясь по горам и по острым камням, голые и босые, травой и кореньями перебиваясь, кое-как мучились. И сам я, грешный, волей-неволей оскоромился кобылятиной и мертвечиной звериной и птичьей. Увы грешной душе! Кто даст мне воду и источник слёз, чтоб оплакал я бедную душу свою, кою погубил в житейских сластях?

Но помогала нам Христа ради боярыня, воеводская сноха, Евдокия Кирилловна, да жена его, Афанасия, Фекла Симеоновна: они нам от смерти голодной тайно давали отраду, без ведома его — иногда пришлют кусок мяса, иногда колобок, иногда мучки и овсеца, сколько найдется, четверть пуда и гривенку-другую, а иногда и полпудика накопит и передаст, а иногда у кур корму из корыта нагребет. Дочь моя, бедная горемыка Аграфена, ходила тайком к ней под окно. И горе, и смех! — иногда ребенка погонят от окна без ведома боярыни, а иногда и многонько притащит. Тогда невелика была, а ныне ей уж 27 годов, — девицею, бедная моя, на Мезени, с меньшими сестрами, перебиваясь кое-как, плачучи живут. А мать и братья в земле закопаны сидят. Да что же делать? Пускай, горькие, мучатся все ради Христа! Быть тому так с Божиею помощью. Так положено: мучиться и мучиться веры ради Христовой. Любил протопоп со славными знаться, люби же и терпеть, горемыка, до конца. Писано: не начавший блажен, но окончивший. Полно о том; на первое возвратимся.

Были в Даурской земле нужды великие годов с шесть и с семь, а в иные годы полегче. А он, Афанасий, понося меня, беспрестанно мне смерти искал. И потому прислал ко мне от себя двух вдов, — работницы его любимые были, — Марью да Софью, одержимых духом нечистым. Ворожа и колдуя много над ними, видел он, что толку мало, шуму много, — очень жестоко их бес мучит, бьются и кричат; призвал меня и поклонился мне, говорит: «Пожалуй, возьми их ты и попекись о них, Бога

моля; послушает тебя Бог». И я ему отвечал: «Господин! Выше меры прошение, но молитвами святых отцов наших всё возможно у Бога». Взял их, бедных. Простите!

Искушенья бесовские, когда на Руси жил, видел: человека три-четыре приведут, бывало, в дом мой, и я помолюсь святым отцам и отгоню от них бесов, действием и повелением Бога Живаго и Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия-света. Слезами покроплю и маслом помажу, молебен спев во имя Христово, и сила Божия отгонит от человека бесов, и тот здоров, не по достоинству моему, — такого нет, — но по вере приходящих. Прежде благодать действовала чрез ослицу при Валааме, и при Ульяне-мученике — через рысь, и при Сисинии — чрез оленя: говорили человеческим голосом. Ибо Бог, где хочет, побеждает естество. Читай житие Феодора Едесского, там найдешь: как блудница мертвого воскресила. В «Кормчей» писано: не всех Дух Святой рукополагает, но во всех, кроме еретика, действует.

И вот привели ко мне баб бесноватых; я, по обычаю, сам постился и им не давал есть, молился, и маслом мазал, и, как умею, действовал: и бабы Христа ради разумны и здравы стали. Я их исповедал и причастил. Живут у меня и молятся Богу; любят меня и домой не идут. Сведаль Пашков, что стали мне дочерьми духовными, осердился на меня и опять пуще прежнего — хотел меня в огне сжечь: «Ты-де выведываешь мои тайны!» А ведь как, судари мои, причастить, не исповедав? А не причастив бесноватого, иного беса совершенно не отгонишь. Бес-то ведь не мужик: батага не боится; боится он креста Христова, да воды святой, да священного масла, а совершенно бежит после причастия. Я, кроме как Святыми Тайнами, врачевать не умею.

В нашей православной вере без исповеди не причащают; только в римской вере творят так — не требуют исповеди; а нам, православие блюдушим, так не подобает, но на всякое время надобно покаяние искать. А если священника не получишь в нужде, то своему брату многоопытному скажи свое согрешение, и Бог простит тебя, покаяние твое увидев, и тогда с молитвой причащайся Святых Тайн. Держи при себе запасной агнец. Если в пути

или на промысле, или еще где случится, кроме церкви, то помолись Богу, и, как сказано выше, брату исповедавшись, причастись святыни: так и хорошо будет! Попостясь и помолясь, пред образом Христовым на коробочку постели платочек и свечку зажги, а в сосудце водицы маленько, да в ложечку зачерпни и часть Тела Христова с молитвою в воду на ложку положи, и кадилком всё покади, поплакав, и говори: «Верую, Господи, и исповедую, яко ты еси Христос Сын Бога живаго, пришедый в мир грешников спасти, от них же первый есмь аз. Верую яко воистину се есть самое пречистое Тело Твое, и се есть самая Честная Кровь Твоя. Его же ради молю Тися, помилуй мя и прости ми и ослаби ми согрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, яже разумом и мыслию, и сподоби мя неосужденно причаститься пречистых Твоих Таинств во оставление грехов и в жизнь вечную, яко благословен еси во веки. Аминь». Потом, пав на землю пред иконой, прощение проговори и, встав, иконы поцелуй и, перекрестясь, с молитвою причастись и водицею запей и опять Богу помолись. Ну, слава Христу! Хотя и умрешь после того, всё равно хорошо. Полно про то говорить. И сами знаете, что доброе добро. Стану опять про баб говорить.

Взял Пашков бедных вдов от меня; бранит меня вместо благодарения. Он чаял: Христос укрепит их; но они пуще прежнего стали беситься. Запер он их в пустую избу, чтоб никому приступу не было к ним; призвал к ним черного монаха — а они в него дровами бросают, тот и пошел прочь. Я дома плачу, а делать что, не ведаю. Приступить ко двору не смею: больно сердит на меня. Тайно послал я им воды святой, велел их умыть и напоить, и им бедным легче стало. Прибтели сами ко мне тайно, и я помазал их во имя Христово маслом; так опять, дал Бог, стали здоровы и во имя Христово домой пошли; да по ночам ко мне прибежали тайно молиться Богу. Изрядные детки стали, играть перестали и Богу молятся. На Москве с боярыней в Вознесенский монастырь вселились. Слава о них Богу!

Потом с Нерчи-реки снова назад возвратились на Русь. Пять недель по льду голому ехали на нартах. Мне под

ребят и под барахлишко Пашков дал две клячки, а сам я и протопопица брели пешие, побиваясь об лед. Страна варварская; инородцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошадьми идти не поспеем — голодные и усталые люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится — сколько раз! Однажды шла и повалилась, а другой усталый человек на нее набрел, тоже повалился: оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: «Матушка-государыня, прости!» А протопопица кричит: «Что ты, батька, меня задавил?» Я пришел — она на меня, бедная, пеняет, говоря: «Долго ли мука сия, протопоп, будет?» И я говорю: «Марковна, до самой до смерти!» Она же, вздохнув, отвечала: «Добро, Петрович, тогда еще побредем».

Курочка у нас черненькая была; по два яичка на день приносила ребятам в пищу Божиим повелением, нужде нашей помогая; Бог так строил. На нартах везя, в ту пору удавили ее грешным делом. И нынче мне жаль курочки той, как вспомню. Чудо была, а не курочка: весь год по два яичка на день давала; сто рублей рядом с ней плёвое дело, железо! А та птичка одушевленная, Божье творение, нас кормила, а сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, а если рыбка случится, и рыбку клевала; а нам за то по два яичка на день давала. Слава Богу, всё доброму во благо! А не просто нам она и досталась. У боярыни куры все ослепли идохнуть стали; так она, собравши в короб, ко мне их прислала, чтоб-де батюшка пожаловал, помолился о курах. И я, судари мои, подумал: кормилица она наша, детки у нее, надобны ей курочки. Молебен пел, воду святил, кур кропил и кадил; потом в лес сходил — корыто им сделал, из чего есть, и водой покропил, да к ней всё и отослал. Куры Божиим мановением исцелились и исправились по вере ее. От того-то племени и наша курочка была. Да полно о том говорить! У Христа не сегодня так повелось. Еще Козьма и Дамиан человекам и скотам благодествовали и целили Христа ради. Богу всё надобно: и скотинка, и птичка во славу Его, Пречистого Владыки, еще же и человека ради.

Потом приволоклись опять на Иргень-озеро. Боярыня сподобилась — прислала сковородку пшеницы, и мы ку-

ты наелись. Кормилица она мне была, Евдокия Кирилловна, а и с ней меня дьявол ссорил; к примеру, сын у нее был Симеон — там родился, я молитву давал и крестил, всякий день присылала его ко мне на благословение и я, крестом благословя и водою покропя, поцелую его и назад отпущу; дитя наше здорово и хорошо. Не случилось меня дома; а младенец занемог. Смалодушничав, она на меня осердилась и послала к шептуну-мужику. А я, узнав, осердился на нее, и меж нами ссора великая сделалась. Младенец пуще занемог: рука правая и нога засохли, как палочки. Она бранится; не ведает, что делать, а Бог пуще угнетает. Ребеночек кончатся стал. Няньки, ко мне приходя, плачут; а я говорю: «Коли баба дурна, так и живи себе одна!»

А ожидаю ее покаяния. Вижу, как ожесточил дьявол сердце ее; припал ко Владыке, чтоб ее образумил: прислала она наутро сына среднего Ивана ко мне, — со слезами просит он прощения для матери, ходя и кланяясь около печи моей. А я лежу под крышей голый на печи, а протопопица в печи, а дети кто где: в дождь дело было, одежды не стало, а зимовье каплет, — всяко маемся. И я, смиряя его, приказываю: «Вели матери прощения просить у Арефы-колдуна». Потом и больного принесли, — велела передо мной положить и всё плачет и кланяется. Я, судари мои, встал, достал из грязи епитрахиль и масло священное нашел. Помоля Бога и покадя, младенца помазал маслом и крестом благословил. Ребенок, дал Бог, опять здоров стал — с рукою и с ногою. Водою святою его напоил и к матери послал. Видишь, сударь мой, покаянием мать какое чудо сотворила: душу свою уврачевала и сына исцелила. А как иначе? Не сегодня к кающимся пришел Бог! Наутро прислала нам рыбы да пирогов, — а нам-то, голодным, то и надобно. И с той поры мы помирились. Выехав из Даур, померла она, миленькая, в Москве; я и погребал в Вознесенском монастыре. Узнал то и сам Пашков про младенца, — она ему сказала. Потом я к нему пришел. И он поклонился низенько мне, а сам говорит: «Спаси Бог! Как отец поступаешь — не помнишь нашего зла». И в то время пищи довольно прислал.

А после того вскоре хотел меня пытаться: слушай, за что. Отпускал он сына своего Еремея в Монгольское царство

воевать, — казаков с ним 72 человека да инородцев 20 человек, — и заставил инородца шаманить, то бишь гадать: удасться ли им и с победою ли будут домой? Волхв же тот мужик, близ моего зимовья привел барана живого в тот вечер и начал над ним волхвовать, вертя его много, и голову прочь отвертел и прочь отбросил. И начал скакать, и плясать, и бесов призывать, и много крича, о землю ударился и пена изо рта пошла. Бесы давили его, а он спрашивал их: «Удасться ли поход?» И бесы сказали: «С победою великою и с богатством большим будете назад». И воеводы рады, и все люди радуясь говорят: «Богаты приедем!» Ох, душе моей тогда было горько, и ныне не сладко. Пастырь худой я, погубил своих овец, от горести забыл реченное во Евангелии, когда Зеведеевичи против поселян жестоких просили: «Господи, если хочешь, скажем, чтоб огонь снизошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Оборотился Иисус и сказал им: «Не знаете, какого вы духа; ибо Сын человеческий пришел не губить души человеческие, но спасти». И пошли они в другое селение.

А я, окаянный, сделал не так. В хлеву своем кричал с воплем ко Господу: «Послушай меня, Боже! Послушай меня, Царь Небесный-свет, послушай меня! Да не возвратится назад ни один из них, и гроб им там устрой всем! Пошли им зло, Господи, пошли, и погибель на них наведи, да не сбудется пророчество дьявольское!» И много того было говорено. И втайне я о том Бога всё молил. Сказали Пашкову, что я так молюсь, а он сильно излаял меня. Потом отпустил войско и сына своего. Ночью поехали они по звездам. В то время жалел я их: видит душа моя, что им побитым быть, а сам-таки на них погибель молю. Иные, приходя, прощения у меня просили, а я им говорю: «Погибнете там!» Как поехали, лошади под ними заржали вдруг, и коровы тут взревели, и овцы и козы заблеяли, и собаки взвыли, и сами инородцы, как собаки, завыли; ужас на всех напал. Еремей весть со слезами ко мне прислал: батюшка-государь, помолись за меня, мол. И мне его стало жаль. Друг он мне тайный был и за меня пострадал. Так, когда меня кнутом отец его бил, стал ругать отца, и тот со шпагою погнался за ним; а как

приехали после того на другой порог, на Падун, 40 дощаников все прошли в ворота, а его, Афанасия, дощаник, — снасть на нем добрая была, — казаки все шестьсот тянули, а не могли втянуть, взяла силу вода; говори опять — Бог наказал!

Стащило всех в воду людей, а дощаник на камень бросила вода; через него льется, а в него не идет. Чудо, как Бог безумных учит! Он сам на берегу, боярыня в дощанике. И Еремей стал говорить: «Батюшка, за грех наказует Бог. Напрасно ты протопопа-то кнутом-то избил; пора покаяться, государь!» Он же, рыкнул на него, как зверь, и Еремей, к сосне отклонясь, прижав руки, стал, а сам, стоя, «Господи, помилуй!» говорит. Пашков же, выхватив у малого пищаль с колесным замком, — бьет без осечки, — прицелился в сына, курок спустил, и Божию волею осеклась пищаль. Он же, вправив порох, опять спустил, и опять осеклась. Он и в третий раз также сделал; пищаль и в третий раз осеклась. Он ее на землю и бросил. Малый, подняв, на сторону спустил — так и выстрелила! А дощаник так на камнях под водой и лежит. Сел Пашков на стул, шпагою подперся, задумался и плакать стал, а сам говорит: «Согрешил я окаянный, пролил кровь неповинную, напрасно протопопа бил; за то меня наказует Бог!» Чудно, чудно! По писанию, неспешен Бог на гнев, а скор на милость, — дощаник сам, покаяния ради, сплыл с камней и стал носом против течения. Потянули — он и взбежал на тихое место тотчас. Тогда Пашков, призвав сына к себе, промолил ему: «Прости, пожалуйста, Еремей, правду ты говоришь!» Он же, подбежав, пал в поклоне отцу и сказал: «Бог тебя, государя, простит! Я пред Богом и пред тобою виноват!» И взял отца под руку, и повел. Весьма Еремей разумный и добрый человек: уж у него и своя борода седая, а весьма почитает отца и боится его. Да по писанию и надобно так: Бог любит тех детей, которые почитают отцов. Видишь, сударь мой, как страдал нас ради Еремей, и ради Христа и правды Его? А сказывал мне всё кормщик его, Афанасьева, дощаника, — был тут такой, — Григорий Тельной. На первое возвратимся.

Отплыли они в ту пору, поехали на войну. Жаль стало Еремея мне: стал я Господу докучать, чтоб Он его поща-

дил. Ждали их с войны — не воротились в срок. А в те поры Пашков меня и к себе не пускал. И вот однажды и устроил застенок, и огонь разложил — хочет меня пытать. Я к смерти и молитвы проговорил; знаю его душегубства, после пыток-то мало у него живут. А сам жду себе и, сидя, жене плачущей и детям говорю: «Воля Господня да будет! Когда живем, для Господа живем, когда умираем, для Господа умираем». И вот бегут ко мне два палача. Чудны дела Господни и неисповедимы пути Его! Еремей раненый с товарищем дорожкой мимо избы и двора моего едет, и палачей кликнул и воротил с собою. Он же, Пашков, оставив застенок, к сыну своему пришел, как пьяный, от кручины. И Еремей, раскланявшись с отцом, всё ему подробно возвещает: как войско у него побили всё без остатка, и как его увел инородец от монголов по пустым местам, и как по каменным горам в лесу, без еды, блуждал он семь дней, — одну съел белку, — и как в моем образе человек ему во сне явился и, благословив его, указал дорогу, в которую сторону ехать. И он, вскочив, обрадовался и на путь выбрел. Пока он отцу рассказывал, пришел я поклониться им. Пашков же, глянув на меня, — точь-в-точь как медведь морской белый, живьем бы меня проглотил, да Господь не выдаст! — вздохнув, говорит: «Так-то ты делаешь? Людей погубил столько!» А Еремей мне говорит: «Батюшка, поди, государь, домой! Молчи ради Христа!» Я и пошел.

Десять лет Пашков меня мучил, или я его, не знаю; Бог разберет на Страшном суде. Перемена ему пришла, и мне грамота: велено ехать на Русь. Он поехал, а меня не взял; замышлял в уме своем: «Пусть-де один и поедет, и его-де убьют инородцы». Он в дощаниках с оружием и с людьми плыл, а, слышал я, едучи, — инородцев дрожал и боялся. А я, месяц спустя после него, набрав старых, и больных, и раненых, какие негодные были, человек с десятков, да я с женою и с детьми, — семнадцать нас человек, в лодку сев, уповая на Христа и крест поставив на носу, поехали, как Бог наставит, ничего не боясь. Книгу Кормчую подарил я приказчику, и он мне мужика кормщика дал. Да друга моего я выкупил, Василия, который там на людей ябедничал и кровь про-

ливал и моей головы искал: один раз, побив меня, на кол было посадил, да Бог еще сохранил! А после Пашкова хотели его казаки до смерти убить. И я, выпросив Василья у них Христа ради, а приказчику выкуп дав, на Русь его вывез, от смерти к жизни, — пусть его, бедный! — может, покается о грехах своих. Да и другого такого ж увез дурака. Этого не хотели мне выдать; и он ушел в лес от смерти и, дождавшись меня на пути, с плачем кинулся ко мне на корабль. А за ним погоня! Спрятать некуда. Я, судари мои, — простите! — сплутовал: как блудница Раав в Иерихоне Иисуса Навина людей, спрятал его, положив на дно в судне, и постель накиннул, и велел протопице и дочери лечь на него. Везде искали, а жены моей с места не тронули, — только говорят: «Матушка, спи себе, и так ты, государыня, горя натерпелась!» А я — простите Бога ради! — лгал в те поры и сказывал: «Нет его у меня!» — не желая его на смерть выдать. Поискали, да и поехали ни с чем; а я его на Русь вывез. Старец, да и ты, раб Христов, простите же меня, что я лгал тогда. Каково вам кажется? Не велико ли мое согрешение? Раав блудница, кажется, так же сделала, да писание ее похваляет за то. И вы, Бога ради, рассудите: если грешно поступил, простите меня; а если церковному преданию не противно, так и то ладно. Вот вам и место оставил: припишите своею рукою мне, и жене моей, и дочери или прощение, или епитимию, ибо мы заодно плутовали — от смерти человека ухоронили, ища его покаяния к Богу. Судите же так, чтобы нас Христос не стал судить на Страшном суде за сие дело. Припиши же что-нибудь, старец.

Бог да простит тебя и благословит в этом веке и в будущем, и подругу твою Анастасию, и дочь вашу, и весь дом ваш. Хорошо сотворили и праведно. Аминь.

Добро, старец, спасибо за милость! Полно о том.

Приказчик же мучки гривенок с тридцать дал, да коровку, да овечек пять-шесть, сушеного мяса; и тем всё лето питались, пока плыли. Добрый приказчик человек, дочь у меня Ксению крестил. Еще при Пашкове родилась, да Пашков не дал мне мира и масла, так не креще-

на долго была, — после него крестил. Я сам жене своей и молитву говорил, и детей крестил: кумом был приказчик, а кумой дочь моя старшая, а я у них поп. Тем же образом и Афанасиева сына крестил и, обедню служа на Мезени, причастил. И детей своих исповедывал и причащал сам же, кроме жены своей; есть о том в правилах — велено так делать. А что ныне запрещение на то отступническое, так я Христа ради под ноги его брошу и запретом тем подотрюсь. Меня благословляют московские святители Петр и Алексей, и Иона, и Филипп, — я по их книгам верую Богу моему с чистою совестью и служу; а отступников отрицаю и клянусь, — враги они Божии, не боюсь я их, со Христом живя! Хоть камни они на меня накладывают, я с отеческим преданием и под камнями полежу, не то, что под шутовским беззаконным никонианским их запретом. Да что тут говорить? Плюнуть на действо-то и службу их, да и на книги их новоизданные, — так и ладно будет! Станем говорить, как угодить Христу и Пречистой Богородице; а про беззаконие их полно говорить. Простите, пожалуйста, никониане, что избранил вас; живите, как хотите. Стану опять про свое горе говорить, как вы меня жалуете-подбиваете: 20 лет тому уж прошло; еще бы хоть столько же Бог помог помучиться от вас, так и довольно было б с меня, ради Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа! А затем сколько Христос даст, столько и жить. Полно о том, — и так далеко забрел. На первое возвратимся.

Поехали из Даур, стала пища кончатся, и с братиею Бога мы помолили, и Христос нам дал изюбря, большого зверя, — с тем и до Байкала-моря доплыли. У моря наехала ватага охотничья, рыбу промышляют; рады, миленькие, нам, и с кораблем нас, с моря схватив, далеко на гору несли Терентьюшка с товарищами; плачут, миленькие, глядя на нас, а мы на них. Надавали они пищи, сколько нам надобно: осетров с сорок мне привезли, а сами говорят: «Вот, батюшка, твою долю Бог в сети нам дал, — возьми себе всю!» Я, поклонясь им и рыбу благословя, назад им велел взять: «На что мне столько?» Погостив у них и на нужды наши запасцу взяв, лодку починив и парус скрепив, через море пошли. Непогода сошла

на море, и мы гребмя гребли: не больно в том месте широко — или со сто, или с восемьдесят вёрст. Когда к берегу пристали, сделалась буря ветренная, и на берегу мы насилу укрытие нашли от волн. Рядом горы высокие, утёсы каменные и тоже высоки, — двадцать тысяч вёрст и больше я волочился, а не видал таких нигде. На их верху палатки и башни, врата и столпы, ограда каменная и дворы, — всё Богом делано. Лук на них растёт и чеснок — больше романовских луковицы и сладки очень. Там же растёт и конопля, Богом созданная, а во дворах травы красные, и цветные, и благовонные весьма. Птиц очень много, гусей и лебедей, — по морю, как снег, плавают. Рыба в нем — осетры и лососи, стерляди и омули, и сиги, и прочих родов много. Вода пресная, а нерпы и тюлени великие в ней: в океане-море большом, живя на Мезени, таких не видал. А рыба весьма густа тут; осетры и лососи жирны очень — нельзя жарить на сковороде: один жир будет. И всё это у Христа-то-света наделано для человеков, чтоб, успокоившись, хвалу Богу воздавали. А человек, если суетный и дни его, как тень, проходят, скачет, как козёл; раздувается, как пузырь; гневается, как рысь; съесть хочет, как змей; ржет, плясь на чужую красоту, как жеребец; лукавствует, как бес; насыщаясь до отвала, без просыпу спит; Бога не молит; откладывает покаяние на старость и потом помирает, и неведомо, куда отходит: или во свет, или во тьму, — день Судный каждого явит.

Потом в русские города приплыл и узнал о церкви, что толку в ней мало, а шуму много. Опечалившись, сижу, рассуждаю: «Что делать мне? Проповедать слово Божие или скрыться где? Ведь жена и дети связали меня». И видя меня печальным, протопопица моя подошла ко мне достойно и сказала мне: «Что, господин, опечалился?» И сказал я подробно ей: «Жена, что делать стану? Зима еретическая на дворе; говорить ли мне, или молчать? Связали вы меня!» И она мне в ответ: «Господи, помилуй! Что ты, Петрович, говоришь? Слыхала я, как читал ты апостольскую речь: соединясь с женой, не ищи развода, а оставшись без жены, не ищи жены. Я с детьми тебя благословляю: дерзай проповедать слово Божие по-прежнему, а о нас не тужи: пока Бог изволит, будем

жить вместе; а когда разлучат, тогда нас в молитвах своих не забывай; силен Христос и нас не покинуть! Поди, поди в церковь, Петрович, — обличай блудную еретическую!» Я, сударь мой, ей за то в ноги поклонился и, стряхнув с себя печальную слепоту, начал по-прежнему слово Божие проповедать и учить по городам и везде, еще и ересь никонианскую обличал.

В Енисейске зимовал; потом, лето проплыв, в Тобольске зимовал. И в дороге до Москвы по всем городам и сёлам, в церквях и на базарах кричал, проповедуя слово Божие, и уча, и обличая безбожную ложь. Потом приехал в Москву. Три года ехал из Даур, а туда волокся пять лет против течения; на восток всё везли, среди инородских орд и жилищ. Да что про то говорить! Бывал и в руках инородцев. На Оби, великой реке, предо мною погубили они 20 человек христиан, а обо мне подумали, да и отпустили совсем. На Иртыше-реке опять собрание их стояло: ждали из города Березова наших с дощаником, чтобы побить. А я, не зная о том, и приехал к ним, и, приехав, к берегу пристал: они с луками и обступили нас. Я, сударь мой, вышел обниматься с ними, как с монашьей братьей, а сам говорю: «Христос со мною, и с вами тоже!» И они ко мне добры стали и жен своих к жене моей привели. Жена моя также с ними лицемерится, как в мире лесть совершается; и бабы подобрили. А мы-то уже знаем: когда бабы бывают добры, так и всё уже ради Христа бывает добро. Спрятали мужики луки и стрелы свои, торговать со мною стали, — товару лежалого я у них накупил, — да и отпустили меня. Приехав в Тобольск, рассказываю; а люди и дивятся рассказу, ибо всю Сибирь башкирцы с татарами воевали тогда. А я, не разбирая, уповая на Христа, ехал посреди них. Приехал на Верхотурье, и Иван Богданович Камынин, друг мой, дивится мне: «Как ты, протопоп, проехал?» А я говорю: «Христос меня пронес и Пречистая Богородица провела, а я не боюсь никого, одного боюсь Христа».

Потом в Москву приехал, и, как ангела Божия, принял меня государь с боярами, — все мне рады. К Федору Ртищеву зашёл: он сам из палат выскочил ко мне, благословение у меня взял, и стал со мной говорить много-

много, — три дня и три ночи домой меня не отпускал и потом царя обо мне известил. Государь меня тотчас к себе позвать велел и слова милостивые говорил: «Здорово ли-де, протопоп, живешь? Еще-де свидеться Бог привел!» И я перед ним руку его поцеловал и пожал, а сам говорю: «Жив Господь и жива душа моя, царь-государь, а впредь как изволит Бог!» Он же, миленький, вздохнул, да и пошел, куда ему надобно. И иное кое-что было, да что много говорить? Прошло уже то! Велел меня поселить на монастырском подворье в Кремле и, в походы мимо двора моего ходя, кланялся часто со мною низенько так, а сам говорит: «Благослови-де и помолись обо мне!» И шапку однажды парадную, снимая с головы, уронил, едучи верхом. А из кареты высунется, бывало, ко мне. Потом все бояре после него кланялись да кланялись: «Протопоп, благослови и молись о нас!» Как, сударь мой, мне царя-то и бояр-то не жалеть? Жаль их, сударь мой! Видишь, какие были добрые! Да и ныне они не злы ко мне; дьявол зол ко мне, а люди все ко мне добры. Давали мне место, где ни захочу, и в духовники звали, только б я с ними соединился в вере; я же всё это дерьмом счел, чтобы обрести Христа, и помнил о смерти, ибо всё это минет.

А тогда мне в Тобольске вещий сон был («Берегись, чтобы не рассек Я тебя пополам»). Я вскочил и пал перед иконою в ужасе великом, а сам говорю: «Господи, не стану ходить туда, где по-новому молятся, Боже мой!» Был я на заутрени в соборной церкви на царевнины именины, дурачился с ними в церкви-то при воеводах; да по приезде смотрел дважды или трижды, в алтаре у жертвенника стоя, как готовят они Святые Дары, а сам их ругал; а когда привык ходить, так и ругать престал, — как жалом, духом антихристовым сам ужалился было. Вот меня Христос-свет и напугал, и сказал мне: «В великом страдании погибнуть хочешь? Берегись, чтобы не рассек Я тебя пополам!» Я и к обедне не пошел, а обедать ко князю пришел, и всё подробно им рассказал. Боярин миленький, князь Иван Андреевич Хилков, плакать стал. И мне, окаянному, столько Божьих благодеяний забыть?

Когда в Даурах я был, на рыбный промысел к детям по льду зимой по озеру бежал на скобах с шипами; там

снегу не бывает, морозы великие стоят и льды толстые намерзают, — с человека толщиной; пить мне захотелось и, сильно жаждой томим, идти не могу; а дело посреди озера было: воды добыть нельзя, озеро вёрст с восемь, и стал я, на небо глядя, говорить: «Господи, давший из камня в пустыни людям воду, и тогда Ты был, и теперь! Напой меня, Сам знаешь, как, Владыко, Боже мой!» Ох, горе! Не знаю, что и сказать; простите, Господа ради! Кто я такой? Дохлый пес! Затрещал лед предо мной и раздвинулся через все озеро сюда и туда и снова сдвинулся: гора великая льду замерла, и, покуда так было, встал я на молитву и, на восток глядя, поклонился дважды или трижды, призывая имя Господне краткими словами из глубины сердца. Оставил мне Бог прорубку маленькую, и я, упав, насытился. И плачу, и радуюсь, благодаря Бога. Потом и прорубь сдвинулась, и я, встав и поклонившись Господу, снова побежал по льду, куда мне надобно было, к детям.

Да и в прочие времена в волоките моей этак часто у меня бывало. Идучи, или нарты волоку, или рыбу промышляю, или в лесу дрова рублю, или другое что делаю, а сам и молитвы тем временем говорю вечерни, и утрени, и часов, — что случится. А когда с людьми бывало несподручно — товарищи не по мне или молитвы моей не любили, то я и на стоянке, если на ходу не мог исполнить, отстраню людей под гору или в лес и коротенько помолюсь: побьюсь головой о землю, а иной раз поплачу, а уж потом обедаю. А если по мне люди, то я на подпорке складень поставив, молитвы проговорю; иные со мной молятся, а иные кашку варят. А в санях едучи, в воскресные дни на подворьях всю церковную службу пою, а в будние дни, в санях едучи, пою; а бывало, и в воскресные дни, едучи, пою. Когда очень несподручно, я, хотя и немножко, а пөворчу-таки. Как тело алчущее желает есть, а жаждущее пить, так и душа, отче мой Епифаний, пищи духовной желает: не голод, не жажда губит человека; но голод великий человеку — Бога не моля жить.

Бывало, в Даурской земле, если не скучно слушать, отче, и тебе, раб Христов, то и расскажу вам, — от немощи и голода великого не в силах молиться, совсем мало

молитв говорю, только псалмы повечерия, да полунощницу, да первый час, а больше того ничего; как скотинка, волочусь, о молитве той тужу, а молиться не могу, и вот уже ослабел. Однажды пошел в лес по дрова, а без меня жена моя и дети, сидя на земле у огня, дочь с матерью — обе плачут. Аграфена, бедная моя горемыка, еще тогда была невелика. Я пришел из лесу — рыдмя ребенок рыдает, связало язык у нее, ничего сказать не может, мычит матери, сидя; мать, на нее глядя, плачет. И я отдохнул и с молитвою приступил к дитю, сказал: «Именем Господним велю тебе: говори со мною! О чем плачешь?» Она же, вскочив и поклонившись, ясно заговорила: «Не знаю, батюшка-государь, кто, во мне сидя, светленький, за язык-то меня держал и с матушкой не дал говорить; потому я и плакала; а он мне говорит: «Скажи отцу, чтобы он молился по-прежнему, тогда на Русь все вернетесь, а если без молитвы он будет, как сам вздумал, то здесь все умрете, и он с вами же умрет». Да и иное кое-что ей сказано в те поры было: как указ про нас будет, и сколько друзей прежних на Руси застанем, — всё так и сбылось.

И велено мне было Пашкову говорить, чтоб и он вечерни и заутрени пел, тогда Бог ведро даст и хлеб родится, — а то были дожди беспрестанно; ячменцем было засеяно небольшое место: за день или за два до Петрова дня он вдруг вырос, да и сгнил от дождей. Я Пашкову про вечерни и заутрени сказал, и он и стал молиться; и Бог ведро дал и хлеб тотчас поспел. Чудо-таки. Сеян поздно, а поспел рано. И опять Пашков стал зло чинить Божьему делу. На другой год насеял было и много, да дождь необычайный лил, и вода из реки выступила и потопила ниву, да и всё размывала, и жилища наши размывала. А до того никогда тут вода не бывала, — и местные дивились. Видишь: как поругал он дело Божие и пошел сторонкой, так и Бог к нему странным гневом! Стал он к тому же насмехаться над тем знамением: ребенок-де есть хотел, вот и плакал! А я, сударь мой, с тех пор за молитву схватился, так по сей день и держусь помаленьку. Полно о том беседовать. На первое возвратимся. А нам надобно всё это помнить и не забывать, ни одно Божие дело не

оставлять в небрежении и без разбору не менять его на соблазны сего суетного века.

Снова буду сказывать о московском бытии. Видят они, что я не соединяюсь с ними; приказал государь уговаривать меня Родиону Стрешневу, чтоб я молчал. И я утешил его: царь-то ведь от Бога учинен, а что добрый ко мне, — думал, что помаленьку исправлюсь. Посулили мне в Семёнов день сесть на Печатном дворе книги править, и обрадовался я сильно, — мне это надобней пуще и духовничества. Пожаловал, прислал мне десять рублей денег, и царица десять рублей денег, и Лукьян духовник десять рублей, и Родион Стрешнев десять рублей, а дружище наш старый Федор Ртищев, тот и шестьдесят рублей казначею своему велел в шапку мне сунуть; а про других нечего и сказывать: всяк тащит и несет всякую всячину! У света моего, у Феодосьи Прокопьевны Морозовой, не выходя, жил во дворе, потому что дочь мне духовная, и сестра ее, княгиня Евдокия Прокопьевна, тоже дочь моя. Светы мои, мученицы Христовы! И у Анны Прокопьевны Милославской покойницы тоже всегда в дому был. А к Федору Ртищеву браниться с отступниками ходил.

Да так-то с полгода жил, да вижу, что в делах церковных толку мало, шуму много, и опять я заворчал, написав царю многогонько-таки, чтоб он старое благочестие взыскал и мать нашу общую, святую церковь, от ересей оборонил и на престол бы патриарший пастыря православного поставил вместо волка и отступника Никона, злодея и еретика. И когда я письмо написал, занемог сильно и послал царю при переезде с сыном своим духовным, с Федором юродивым; позже отступники удавили его, Федора, на Мезени, повесив на виселице. Он же с письмом подошел к царевой карете с дерзновением, и царь велел его посадить с письмом под Красное крыльцо, — не ведал, что от меня; а после, взявши у него письмо, велел его отпустить. И он, покойник, побывав у меня, опять в церковь к царю прийдя, стал юродничать, царь же, осердясь, велел его в Чудов монастырь отослать. Там Павел архимандрит оковы на него и наложил, и Божией волею оковы рассыпались на ногах пред всем

народом. Он же, покойник, в хлебопекарне монастырской после хлебов в жаркую печь влез и голым гузном сел на печное дно и, крошки в печи подбираючи, ел. Так монахи ужаснулись и архимандриту сказали, который ныне Павел митрополит. А тот царю возвестил, и царь, прийдя в монастырь, с миром велел его отпустить. Он же опять ко мне пришел.

И с тех пор царь на меня гневаться стал: не любо стало, как я опять стал говорить; любо им, как молчу, да мне так не ладно. А власти, как козлы, пырскать стали на меня и умыслили снова выслать меня из Москвы, затем, что рабы Христовы многие приходили ко мне и, уразумевши истину, не стали к лживой их службе ходить. И мне от царя выговор был: «Власти-де на тебя жалуются, церкви ты-де опустошил, поезжай-де в ссылку опять». Сказывал боярин Петр Михайлович Салтыков. Да и повезли на Мезень. Надавали было кое-чего, во имя Христова, люди добрые много, да всё и осталось тут; только с женою и детьми и с домочадцами повезли. А я по городам опять людей Божиих учил, а их, пестрообразных зверей, обличал. И привезли нас на Мезень.

Полтора года продержав, одного опять в Москву взяли, да два сына со мною — Иван да Прокопий — ехали, а протопопица и прочие на Мезени остались все. И, привезя меня в Москву, отвезли под надзор в Пафнутьев монастырь. И туды письмо было, — всё то ж писали: «Долго ли тебе мучить нас? Соединись с нами, Аввакумушка!» Я от них открещиваюсь, как от бесов, а они лезут в глаза! Объяснение я им с бранью большой написал и послал с дьяконом ярославским, с Козьмою, с подъячим двора патриаршего. Козьма-то не знаю, какого духа человек; въяве уговаривает, а втайне подкрепляет меня, тако говоря: «Протопоп! Не отступай ты старого-то благочестия; велик ты будешь у Христа человек, коли до конца претерпишь; не гляди на нас, что погибаем мы!» И я ему говорил в ответ, чтобы он вернулся к Христу. И он говорит: «Нельзя, Никон опутал меня!» Проще сказать, отрекся для Никона от Христа, так уже, бедный, не может встать. Я, заплакав, благословил его, горюна; больше того нечего мне делать с ним; ведает то Бог, что будет ему.

Потом, продержав десять недель в Пафнутьевом на цепи, взяли меня опять в Москву, и в Крестовой спорили власти со мною, потом ввели в соборный храм и стригли на литургии меня и дьякона Федора, потом проклинали, а я их проклинал в ответ. Очень было мятежно в обедню ту! И, подержав на патриаршем дворе, повезли нас ночью на Угрешу в Николин монастырь. И бороду враги Божии отрезали у меня. Что ж делать? Волки-то ведь, не жалеют овец! Оборвали, как собаки, один хохол оставили, как у поляка на лбу. Везли не дорогою в монастырь — болотами да грязью, чтоб люди не сведали. Сами видят, что дурят, а отстать от дури не хотят: омрачил дьявол, — что на них и пенять! Не они б, так другие, писанное время пришло по Евангелию: надобно соблазнам прийти. А другой глаголет евангелист: невозможно соблазнам не прийти, но горе тому, чрез которого придет соблазн. Видишь, сударь, неизбежна наша беда, невозможно миновать! Потому-то соблазны попускает Бог, чтобы избранные были, чтобы искушались, и укрепились, и чтобы испытанными стали. Выпросил у Бога светлую Россию сатана, так пусть окровавит ее кровию мученическою. Добро ты, дьявол, вздумал, и нам то любо — Христа ради, нашего света, пострадать!

Держали меня у Николы в студеной каморке семнадцать недель. Тут мне Божие посещение было; читай в моем «Послании» к царю, там найдешь. И царь приходил в монастырь; около темницы моей походил и, постонав, опять пошел из монастыря. Кажется потому, и жаль ему меня, да уж воля Божия так лежит. Когда стригли, в то время велики нелады во дворце у них были с царицею, с покойницею: она за нас стояла в то время, миленькая; напоследок и от казни отпросила меня. Полно о том говорить. Бог их простит! Я своего мучения с них не спрошу и в будущий век. Молиться мне подобает о них, и о живых, и о преставившихся. Дьявол между нами рассечение положил, а они всегда были добры до меня. Полно о том! И Воротынский, бедный князь Иван, сюда же без царя молиться приезжал: а ко мне просился в темницу, так не пустили горюна; я лишь, в окошко глядя, поплакал на него. Миленький мой! Боится Бога, сиротинка

Христов: не покинет его Христос! Всегда-таки он Христов да наш человек. И все бояре-то до нас добры, один дьявол лих. Что ведь сделаешь, коли Христос попустил! Князя Ивана миленького Хованского батожем били и, как Исаяю, сожгли. А боярыню-то Федосью Морозову и совсем разорили, и сына у нее уморили, и ее мучат; и сестру ее Евдокию, побив батогами, и от детей отлучили, и с мужем развели, а его, князя Петра Урусова, на другой, говорят, женили. Да что ведь делать? Пускай их, миленьких! Мучась, небесного жениха достигнут. Всяко-то Бог проведет их в век сей суетный и возьмет к себе жених небесный в чертог свой, праведное солнце, свет, упование наше! Опять на первое возвратимся.

Потом свезли меня снова в монастырь и там, заперши в темную каморку скованным держали год без малого. Тут келарь Никодим сперва добр до меня был. А он, бедный, к тому ж табак курил, что у газского митрополита позже изъяли 60 пудов вместе с домрой да иными тайными монастырскими вещами, какими забаву творят. Согрешил я, простите, — не мое это дело: сам он ведает, своему владыке виноват иль нет. К слову молвилось. Тот у него был любимый законоучитель. У сего Никодима попросился я на Пасху ради праздника отдохнуть, чтоб велел, двери отворя, на пороге посидеть; и он, меня изругав, и отказал жестоко, как ему захотелось; и потом, в келию прийдя, разболелся: маслом соборовали и причащали, вот-вот подохнет. То было в понедельник светлый.

А в ночь на вторник пришел к нему муж в образе моем, с кадиллом, в ризах светлых, и покадил его, и, за руку взяв, поднял, и стал он здрав. И пришел он ко мне с келейником ночью в темницу, и, прийдя, говорит: «Блаженна обитель, где таковые темницы! Блаженна темница, где таковые страдальцы! Блаженны и узы!» И пал предо мною, ухватился за цепь, говорит: «Прости, Господа ради, прости! Согрешил пред Богом и пред тобою; оскорбил тебя, — и за это наказал меня Бог». И я говорю: «Как наказал? Поведай мне». И он опять: «А ты-де сам, прийдя и покадя, меня пожаловал и поднял, — что-де запираешься!» А келейник, тут же стоя, говорит: «Я, батюшка-государь, тебя под руку вывел из кельи, да и

поклонился тебе, ты и пошел сюды». И я ему запретил, чтоб людям не сказывал о тайне сей. Он же у меня спрашивал, как ему жить впредь во Христе: «Или-де мне велишь покинуть всё и в пустыню пойти?» Я же, его наказав, не велел ему келарства покидать, лишь бы, хоть втайне, держался старого преданья отеческого. И он, поклонясь, ушел к себе и наутро за трапезою всей братии сказал. И люди бесстрашно и дерзновенно ко мне пришли, прося благословения и молитвы от меня; а я их учил по писанию и пользовал словом Божиим; в те времена и враги мои, и те со мной примирились. Увы! Что, коли оставлю сей суетный мир? Писано ж: горе тому, кого зовут добрым все человеки. Воистину не знаю, как до конца жить: добрых дел нет, а прославил Бог! То ведет Он, — воля Его.

Сюда же приезжал ко мне втайне с детьми моими Федор покойник, удушлик мой, и спрашивал у меня: «Как-де прикажешь мне ходить — в рубашке ли по-старому, или в платье одевшись? Еретики-де ищут и погубить меня хотят. Был-де я в Рязани под надзором, у архиепископа на дворе, и очень-де он, Илларион, мучил меня — редкий день, когда плетью не бил, и скованным в кандалах держал, принуждая к новому антихристову таинству. И я-де уже изнемог, и, в ночи молясь и плача, говорю: «Господи, если не избавишь меня, осквернят меня, и погибну. Что тогда мне сотворишь?» И много плачучи говорил: «А тут вдруг, батюшка, кандалы все спали с меня, и дверь отперлась, и отворилась сама. Я-де, Богу поклонясь, да и пошел; к воротам пришел — и ворота отворены! Я-де по большой дороге, к Москве напрямик! Когда-де рассветало, аж и погоня на лошадях! Трое человек мимо меня проскакали, — не увидели меня. Я-де надеюсь на Христа, бреду-таки вперед. Вскоре они едут мне навстречу, бранят меня: ушел-де, блядин сын, — где-де его возьмешь? Да и опять-де проехали, не видали меня. И я-де ныне к тебе спроситься прибрел; туды ль-де мне опять мучиться пойти или, платье надев, жить на Москве?» И я ему, грешный, велел надеть платье. А однако не ухоронил от еретических рук — удавили на Мезени, повесив на виселице. Вечная память ему и

Луке Лаврентьевичу! Детушки миленькие мои, пострадали за Христа! Слава Богу о них!

Очень у Федора того крепок подвиг был: днем юродствует, а ночь всю на молитве со слезами. Много добрых людей знаю, а не видал подвижника такого! Пожил у меня с полгода на Москве, — а мне тогда не могло, — в задней комнатке двое нас с ним, — и самое большее час-другой полежит, да и встанет; 1000 поклонов отбросит, да сядет на полу, а иной раз стоя, часа с три плачет, а я-таки лежу: иной раз сплю, иной хвораю; когда он наплачется гораздо, ко мне подойдет: «Долго ли тебе, протопоп, лежать-то, образумься — ведь ты поп! Как срама нет?» И мне неможется, так он меня подымает, говоря: «Встань, миленький батюшка, ну, таки подымись как-нибудь!» Да и раскачает меня. Велит мне молитвы сидя говорить, а сам за меня поклоны кладет. То-то друг мой сердечный был! Больной миленький был с натуги великой: потрохов из него вышло однажды три аршина, а в другой раз пять аршин. Болеет, а кишки перемеряет; и смех с ним, и горе! На Устюге беспрестанно мерз на морозе босой, бродя в одной рубашке: я сам тому самовидец. И стал мне сыном духовным, как я из Сибири ехал. При церкви в келейке, куда помолиться прибежал, сказывал: «Как-де от мороза в тепле-то станешь, батюшка, отходить, очень-де тяжело в тот час бывает», — по кирпичам-то ногами стучает, как кочанами! А наутро ноги опять не болят.

Псалтырь у него тогда в келье была внове напечатанная — мало еще он знал о новизне; я ему рассказал подробно про новые книги; и он, схватив книгу, тотчас и в печь кинул, да всю новизну и проклял. Крепка у него во Христа была вера! Да что много говорить? Как начал он, так и кончил! Не разговорами делал подвиг, не как я, окаянный! Потому и скончался богоугодно.

Хорош был и Афанасьюшка миленький, тоже сын мне духовный, в монашестве Авраамий, что отступники на Москве в огне испекли, и, как хлеб, сладким он принес себя Святой Троице. До иночества бродил тоже босиком в одной рубашке зимой и летом; только этот Федора по-смирнее и в подвиге маленько покороче. Плакать же боль-

шой был охотник: ходит и плачет. А с кем говорит — у него слово тихо и гладко, словно он плачет. Федор же ревнив гораздо был и очень о деле Божиим болезнен: всячески старался погублять и обличать неправду. Да пускай их! Как жили, так и скончались о Христе Иисусе Господе нашем.

Еще вам побеседую о своей волоките. Как привезли меня из монастыря Пафнутьева к Москве, и поставили на подворье, и, волоча многожды в Чудов, поставили перед вселенскими патриархами, и наши все тут же, что лисы, сидели, — по писанию говорил я с патриархами много; Бог отверз грешные мои уста, и посрамил тех Христос! Последнее слово ко мне рекли: «Что-де ты упрям? Вся-де наша палестина — и сербы, и албанцы, и румыны, и римляне, и ляхи, — все-де тремя перстами крестятся, один ты стоишь в своем упорстве и крестишься пятью перстами! Так-де не подобает!» И я им Христа ради отвечал тако: «Вселенские учителя! Рим давно упал и лежит не вставая, и ляхи с ним же погибли, до конца врагами быв христианам. А и у вас православие не чисто стало от насилия турецкого Магомета, — да и чему тут дивиться: немощны вы стали. И впредь приезжайте к нам учиться: у нас, Божиюю благодатию, самодержство.

До Никона отступника в нашей России у благочестивых царей и князей было православие чисто и непорочно, и церковь немятежна. Никон-волк с дьяволами заставили тремя перстами креститься, а первые наши пастыри, как сами пятью перстами крестились, так же пятью перстами и благословляли по преданию святых отцов наших, Мелетия Антиохийского и Феодорита Блаженного, епископа Киринейского, Петра Дамаскина и Максима Грека. Еще же и московский поместный бывший при царе Иване собор так же слагая персты креститься и благословлять повелевает, как и прежние святые отцы, Мелетий и прочие, научили. Тогда же при царе Иване были на соборе со знаменьями Гурий и Варсонофий, казанские чудотворцы, и Филипп, соловецкий игумен, — от святых русских». И патриархи задумались; а наши, что волчонки, вскоча, завыли и блевать стали на отцов своих, говоря: «Глупы-де были и не смыслили наши русские

святые, не ученые-де люди были, — что им верить? Они-де грамоте не умели». О Боже Святой! И как я вытерпел на святых своих столько обиды?

Мне, бедному, горько стало, а делать нечего. Побранил их, побранил их, сколько мог, и последнее слово рек: «Чист я, и прах прилепший от ног своих отрясаю пред вами, по писанному: лучше один твори волю Божию, чем со тьмой беззаконных!» Так на меня и пуще закричали: «Возьми, возьми его! Всех нас обесчестил!» Да толкать и бить меня стали; и патриархи сами на меня бросились. Человек их с сорок, чаю, было, — велико антихристово войско собралось! Ухватил меня Иван Уаров, да потащил, и я закричал: «Постой, — не бейте!» Так они все отскочили. И я толмачу-архимандриту говорить стал: «Говори патриархам — апостол Павел пишет: «Должен быть архиерей преподобен, незлобив», и прочее; а вы, убивши человека, как литургию свершать станете?» Так они сели. И я отошел к дверям, да набок повалился: «Посидите вы, а я полежу», — ору им. Так они смеются: «Дурак-де протопоп-то! И патриархов не почитает!» И я говорю: «Мы дураки Христа ради! Вы в славе, а мы в сраме! Вы сильные, а мы слабые!» Потом снова ко мне пришли власти и про аллилуйю стали говорить со мною. И мне Христос подал — посрамил в них римскую ту блядь Дионисием Ареопагитом, как выше сего в начале речено. И Ефимий, чудовский келарь, говорил: «Прав-де ты, — нечего нам больше того говорить с тобою». И повели меня на цепь.

Потом царь прислал подполковника стрелецкого [Елагина] со стрельцами, и повезли меня на Воробьевы горы; тут же — священник Лазарь и Елифаний-старец; острижены и обруганы, что мужички деревенские, миленькие! Умному человеку поглядеть, да и заплакать, на них глядя. Да пускай их терпят! Что о них тужить? Христос и лучше их был, да тоже Ему, Свету нашему, досталось от прадедов их, от Анны и Каиафы, а на нынешних и дивится нечего: с образца делают! Потужить надобно о тех, о бедных. Увы, бедные никониане! Погибаете от своего злого и непокорного нрава.

Потом с Воробьевых гор перевели нас на Андреевское подворье, потом в Саввину слободку. Как за разбойника-

ми, стрельцов войско за нами ходит и срать провожают; не забуду, — и смех, и горе, — как их помрачил дьявол! Потом к Николе на Угрешу; тут государь присылал ко мне полковника Юрья Лутохина благословиться, и кое о чем много с ним говорили.

Потом опять ввезли в Москву нас на Никольское подворье и с нами о правоверии опять спорили. Потом ко мне придворные люди многожды присланы были, Артамон и Дементий, и передавали мне царицы слова: «Протопоп, ведаю-де я твое чистое и непорочное и богоподражательное житие, прошу-де твоего благословения и с царицею и с чадами, — помолися о нас!» Кланяясь, посланник говорит. А я по царю всегда плачу; жаль мне сильно его. И еще он говорил: «Пожалуй-де послушай меня, соединишь со вселенскими-то хоть в малом!» И я отвечаю: «Если и умереть мне Бог изволит, с отступниками не соединюсь! Ты, говорю, мой царь, а им до тебя какое дело? Своего, говорю, царя потеряли, теперь тебя проглотить сюды приволоклись! Я, говорю, не перестану молиться, пока Бог тебя мне не отдаст». И много тех присылок было. Кое о чем говорено. Последнее слово сказал он: «Где-де ты ни будешь, не забывай нас в молитвах своих!» Я и ныне, грешный, сколько могу, о нем Бога молю.

Потом, братию казня, а меня не казня, сослали в Пустозерье. И я из Пустозерья послал к царю два послания: первое невелико, а другое больше. Кое о чем говорил. Сказал ему в послании и о богознамении некоем, показанном мне в темницах; кто читал его, поймет. И еще от меня и от братии дьяконово сочинение послано в Москву, правоверным гостинец, книга «Ответ православных» и обличение отступнической блудни. Писана в ней правда о догматах церковных. Еще же и от Лазаря священника посланы два послания царю и патриарху. И за всё то присланы нам гостинцы: повесили на Мезени в дому моем двух человек, детей моих духовных, — вышеченного Федора-юродивого да Луку Лаврентьевича, рабов Христовых. Лука-то московский жилец, у матери-вдовы сын был единственный, кожевник чином, юноша лет двадцати пяти, приехал на Мезень за смертью с деть-

ми моими. И когда было в доме моем всегубительство, спросил его Елагин-Пилат: «Как ты, мужик, крестишься?» Он же ответил смиренномудро: «Я так верую и крещуся, слагая персты, как отец мой духовный, протопоп Аввакум». И Пилат тот повелел его в темницу затворить, потом, надев петлю на шею, на виселице повесил. Он же с земли на небо взошел. Больше того что ему могут сделать? Хоть и молод, да по-старому сделал: пошел себе ко Владыке. Вот бы и старому так догадаться! В ту же пору и сынов моих родных двоих, Ивана и Прокопия, велено тоже повесить; да они, бедные, оплошали и не догадались венцов победных ухватить: испугавшись смерти, повинились. Так их и с матерью троих живых в землю закопали. Вот вам и без смерти смерть! Кайтесь, сидя, пока дьявол иное что не замыслит. Страшная смерть — не диво! Некогда и друг ближний, апостол Петр, отрекся и, уйдя вон, плакался горько, и слез ради прощен был. А на ребят и дивиться нечего: моего ради согрешения попущена им слабость. Да уж ладно, быть тому так! Силен Христос всех нас спасти и помиловать.

Потом тот же подполковник стрелецкий Иван Елагин был и у нас в Пустозерье, приехав с Мезени и взял с нас записку. Так в ней сказано: год и месяц, и прочее, — церковного преданья святых отцов держимся мы неизменно, а палестинского патриарха Паисия с товарищи еретическое сборище проклинаем. И иное там говорено нами многонько, и Никону, заводчику ересей, досталось кое-что. Потом привели нас к плахе и, прочтя указ, меня отвели не казня в темницу. Прочли в указе: Аввакума посадить в землю в срубе и давать ему воды и хлеба. А я на то плюнул и умереть хотел, не евши, и не ел дней с восемь и больше, да братья опять есть велели.

Потом Лазаря священника взяли, и язык весь вырезали из горла; малость пошло крови, да и перестала. Он же и опять говорит без языка. Потом, положа правую руку на плаху, по запястье отсекли, и рука отсеченная, на земле лежа, сложила сама персты, как в предании, и долго лежала этак перед народом; исповедала, бедная, и по смерти знамение Спасителево неизменно. Мне, сударь мой, и самому сие чудно: бездушная одушевленных об-

личает! Я на третий день у него во рту рукою моею щупал и гладил: гладко всё — без языка, а не болит. Дал Бог, в краткое время исцелело. Когда на Москве у него резали, тогда остался язык, а ныне весь без остатку резан; а говорил Лазарь два года чисто, как и с языком. Когда исполнилось два года, новое чудо: в три дня у него язык вырос совершенный, лишь маленько тупенек, и снова говорит, беспрестанно хваля Бога и отступников порицая.

Потом взяли соловецкого пустынника, инока-схимника Епифания старца, и язык вырезали тоже весь; у руки отсекли четыре перста. И сперва говорил он гугниво. Потом молил Пречистую Богоматерь, и показаны ему были оба языка, московский и здешний, на тряпице; он же, один взяв, положил в рот свой, и с того времени стал говорить чисто и ясно, а язык здоровым оказался во рту. Дивны дела Господни и неизреченны судьбы Его! И казнить попускает, и снова целит и милует! Да что много говорить? Бог — старый чудотворец, от небытия в бытие приводит. И ведь в день последний всю плоть человечью в мгновение ока воскресит. Да кто о том рассуждать может? Бог ведь вот что: новое творит и старое поновляет. Слава Ему во всем!

Потом взяли дьякона Феодора; тоже язык вырезали весь, оставили кусочек небольшой во рту, в горле накосе резан; тогда такой и зажил, а после опять, как старый, вырос и за губы выходит, потупел маленько. У него же отсекли руку поперек ладони. И всё, дал Бог, стало здоровым, — и говорит он ясно в сравнении с прежним и чисто.

Потом засыпали нас землею: сруб в земле, и еще около земли другой сруб, и еще около всех построили общую ограду за четырьмя замками; стража ж перед дверьми сторожила темницы. А мы, здесь и везде сидящие в темницах, поем пред Владыкою Христом, Сыном Божиим, Песни Песней, какие Соломон пел, глядя на мать Вирсавию: «О, как хороша ты, прекрасная моя! О, как хороша ты, любезная моя! Очи твои горят, как пламень; зубы твои белей молока; глаза твои ярче солнечного луча, и вся в красоте сияешь, как день в силе своей». (То похвала церкви.)

Потом Пилат, поехав от нас, на Мезени достроил и возвратился в Москву. И прочих наших на Москве жарили да пекли: Исайю сожгли, и после Авраамия сожгли, и иных поборников церковных многое множество погублено, которых число Бог изочтет. Чудо, как они в познание не хотят прийти: огнем, да кнутом, да виселицей хотят веру утвердить! Кто ж из апостолов научил так?

Мой Христос не приказывал апостолам так учить, чтобы огнем, да кнутом, да виселицею к вере приводить. Но Господом сказано апостолам тако: идите в мир проповедуйте Евангелие всей твари. Кто веру имеет и крестится, спасен будет, а кто не имеет веры, осужден будет. Смотри, сударь, вольных зовет Христос, а не приказывал апостолам непокоряющихся огнем жечь и на виселицах вешать. Татарский бог Магомет написал в своих книгах тако: «Непокоряющихся нашему преданию и закону повелеваем главы их мечем поклонить». А наш Христос ученикам своим никогда так не велел. И те учителя словно соглада-таи антихристовы, которые, приводя в веру, губят и смерти предают; по вере своей и дела творят такие ж. Писано в Евангелии: не может древо доброе плод злой принести, ни древо злое плод добрый, и по плоду всякое древо познается.

Да что много говорить? Коли б не были борцы, не носили бы венцы. Кому венца охота, неча ходить в Персию, дома свой Вавилон. Ну-тка, правоверный, скажи имя Христово, стань посреди Москвы, перекрестись знаменем Спасителя нашего Христа пятью перстами, как приняли мы от святых отцов: вот тебе царство небесное дома и родилось! Бог благословит: мучься за сложение перстов, не рассуждай много! А я с тобою тоже за то Христа ради умереть готов. Хоть я и несведущ гораздо, неуч человек, да и то знаю, что все в церкви, кто святым отцам преданы, святы и непорочны. Держу до смерти, как принял: не нарушу пределов вечных, ибо до нас положено и лежи оно так во веки веков! Не блуди, еретик, не только над жертвою Христовою и над крестом, но и покровов не шевели. А то удумали со дьяволом книги перепечатать, всё переменить, — крест на церкви и на просвирах переменить, внутри алтаря молитвы иерейские

откинули, ектеньи переменили, в крещении явно духу лукавому молиться велят, — я бы им и с тем духом в глаза наплевал, — и около купели против солнца лукавый их водит, также и церковь святят против солнца, и брак венчая, против солнца же водят, — явно противное творят, — а в крещении и не отрицаются сатаны. Что ж делать? Дети они его: как же от отца своего отречься захотят! Да что много говорить? Ох, правоверный дух! Всё небесное попрали! Как говорил Никон, адов пёс, так и сделал: «Печатай, Арсений, книги как-нибудь, лишь бы не по-старому!» Так, сударь мой, и сделал. Да переменишь уж тут нечего. Умереть за то всякому подобает. Будь они прокляты, окаянные, со всем лукавым замыслом своим, а от них пострадавшим вечная память! Трижды!

Еще у всякого правоверного прощения прошу; кое-что, кажется, про житие-то мне и не надобно говорить, да прочел я «Деяния» апостольские и «Послание» Павлово, — апостолы о себе тоже возвещали, когда и что Бог соделывал в них: не нам, Богу нашему слава. А я же ничто. Сказал, и еще скажу: «Я человек грешный, блудник и хищник, тать и убийца, друг мытарям и грешникам, и всякому человеку лицемер окаянный». Простите же и молитесь обо мне, а я о вас должен, читающих и слушающих. Лучше того жить не умею; а что делаю, то и людям сказываю; пускай Богу молятся обо мне! В Судный день все узнают, благое или злое делал я. Но, хоть и не учен я словам, да не лишен разума; не учен диалектики, и риторики, и философии, а разум Христов в себе имею, как и апостол говорит: невежда словом, но не разумом.

Простите, — еще вам про невежество свое побеседую. Ей-ей, сглупил я, Отца своего заповедь преступил и сего ради дом мой наказан был; слушай, Бога ради, как было. Когда еще я попом был, духовник царский, Стефан Вонифатьевич, благословил меня образом Филиппа митрополита да книгою святого Ефрема Сирина, чтоб, читая ее, себя я пользовал да людей. Я же, окаянный, презрев отеческое благословение да приказ, ту книгу брату двоюродному, по просьбе его, на лошадь променял.

У меня же в дому был брат мой родной, именем Ефимий, очень грамоте горазд был и к церкви великое при-

лежание имел; позднее взят был к старшей царевне во дворец во псаломщики, а в мор он с женою скончался. Сей Ефимий лошадь мою поил и кормил и гораздо о ней пекся, сильно правило презирая. И увидел Бог неправду в нас с братом, как неправо пред истиной ходим, — я книгу променял, отцову заповедь преступил, а брат, правило презирая, о скотине слишком пекся, — изволил нас Владыка тако наказать: лошадь ту днем и ночью стали бесы мучить, — всегда мокра, заезжена и еле жива стала.

Я же в толк не возьму, за какую вину бес так обижает нас. И в день воскресный после ужина, в келейной молитве, на полунощнице, брат мой Ефимий читал псалом непорочный и завопил что есть голосу: «Призри на мя и помилуй мя!» И, выпустив книгу из рук, ударился о землю, бесами повержен, — начал кричать и вопить непотребным голосом, ибо бесы его жестоко начали мучить. В дому же моем другие родные два брата — Козьма и Герасим — сильней его, а не смогли удержать его, Ефимия; и всех домашних человек с тридцать, держа его, рыдают и плачут, вопия ко Владыке: «Господи, помилуй! Согрешили пред Тобою, прогневали Твою благостыню, прости нас, грешных! Помилуй юношу сего за молитвы святых отцов наших!»

А он пуще бесится, кричит, и дрожит, и бьется. Я же с помощью Божией в то время не смутился от крика того бесовского. Кончив молитву, опять начал молиться Христу и Богородице со слезами, говоря: «Владычица моя, Пресвятая Богородица! Покажи, за какое прегрешение мне наказание это, чтоб, уразумев и каюсь пред Сыном твоим и пред тобою, впредь не стал того делать». И, плачучи, послал в церковь за требником и святой водой сына своего духовного Симеона — юноша таков же, что и Ефимий, лет четырнадцати; дружно меж собой жили Симеон с Ефимием, книгами и молитвой друг друга подкрепляли и веселились, живя оба в подвиге крепко, в посте и молитве. И тот Симеон, заплакав о друге своем, сходил в церковь и принес книгу и святую воду. И начал я творить над одержимым молитвы Великого Василия, а Симеон помогал мне: кадило, и свечи, и воду святую подносил, а прочие держали беснующегося.

И уже в молитве речь дошла до слов «именем Господним повелеваю тебе, дух немой и глухой, изыди из создания сего и назад не войди в него, но иди на пустое место, где человек не живет, но только Бог зрит», — а бес всё не слушал, не шел из брата. И я опять ту же речь еще раз, а бес опять не слушает, пуще мучит брата.

Ох, горе мне! Как рассказать? Стыжусь и не смею, но говорю, потому что старец Епифаний велел; итак, взял я кадило, покадил иконы и бесноватого, а потом ударился о лавку и рыдал много часов. И встав, ту же Василиеву молитву закричал бесу: «Изыди из создания сего!» И бес скорчил в кольцо брата и, напрягшись, изошел и сел на окошко; брат же был, как мертвый. И я покропил его водою святою; и он, очнувшись, перстом мне на беса, сидящего на окошке, показывает, а сам не говорит, онемел язык у него. И я покропил водою окошко, и бес сошел в угол у двери. Брат же и там его указывает. И я и там тою же водою. Брат же указал под печь, а сам перекрестился. Но я не пошел за бесом, а напоил святою водою брата во имя Господне.

И он, вздохнув глубоко, мне так проговорил: «Спаси Бог тебя, батюшка, что ты меня отнял у царевича и двух князей бесовских! Поблагодарит тебя брат мой Аввакум за твою доброту. Да и мальчику тому спасибо, который в церковь за книгой и за водой-то ходил, пособлял тебе с ними биться. Похож он на Симеона, друга моего. У реки Сундовик бесы меня водили и били, а сами говорили: «Нам-де ты отдан за то, что брат твой Аввакум на лошадь променял книгу, и за то, что ты лошадь любишь». И мне-де надобно Аввакуму сказать, чтоб книгу назад взял, а за нее бы дал деньги двоюродному брату». И я Ефимию говорю: «Я, — говорю, — мой свет, брат твой Аввакум». И он мне отвечает: «Какой ты мне брат? Ты мне батюшка; ты отнял меня у царевича и у князей; а брат мой в селе Лопатищи живет, бить челом к тебе придет». И я опять ему святой воды дал; он же и судно у меня отнимает, и съесть хочет, — сладка ему была вода! Изошла вода, и я пополоскал и пить дал; а он уж пить не стал.

Ночь всю зимнюю с ним провозился. Маленько я с ним полежал и пошел в церковь заутреню петь; и без

меня бесы опять на него напали, но меньше прежнего. Я же, прийдя из церкви, маслом его освятил, и опять бес отошел, и он в разум пришел; но слаб был, бесами изломан: на печь поглядывает и ее боится, — когда куда отлучусь, бесы тотчас наговаривать ему станут. Бился я с бесами, как с собаками, — недели с три за грех мой, пока не взял книгу и деньги за нее не дал. И ездил к другу своему Иллариону игумену: он просфору вынул за брата; тогда правильно жил, — а ныне архиепископ рязанский, мучитель стал христианский. И другим духовным людям я бил челом о брате: и умолили они Бога за нас, грешных, и освобожден от бесов был брат мой. Таково-то нарушение заповеди отеческой! Что же будет за нарушение заповеди Господней? Ох, да только огонь да мука! Не знаю, дни коротать как! Слабоумием объят да лицемерием, и ложью покрыт я, окаянный, — прямое говно! Отовсюду воняю — душою и телом! Жить бы мне с собаками да со свиньями в конурах: так же и они воняют, что и моя душа, злосмрадной вонью. Да свиньи и псы по естеству, а я от грехов воняю, как пёс мертвый, лежащий на улице града. Спаси Бог власти те, что землею меня засыпали: сам уж хоть и воняю, злые дела творя, так других не соблазняю. Ей-ей, добро так!

А в темницу-то ко мне бесноватый пришел Кирилушка, московский стрелец, караульщик мой. Остриг его я, и вымыл, и платье переменял, — больно вшей много было. Заперли нас с ним, и вдвоем с ним жили, а третий с нами Христос и Пречистая Богородица. Он, миленький, бывало, срёт и ссыт под себя, а я его очищаю. Есть и пить просит, а без благословения взять не смеет. На молитве стоять не захочет, — дьявол на него сон наводит: я тогда его постегая чётками, так он и молитву творить станет, и кланяется за мной, стоя. А когда молитву окончу, он и опять бесноваться. При мне беснуется и балует, а когда ко старцу пойду посидеть в его темнице, то его положу на лавке, не велю ему вставать и благословлю его, и покамест у старца сижусь, лежит, не встанет, Богом привязан, — лежа беснуется. А в головах у него иконы и книги, хлеб и квас и прочее, и ничего он без меня не тронет. А как прииду, так встанет, и дьявол,

досаждая мне, колобродить его заставит. Я закричу, он сядет. Когда стряпаю, в то время есть просит и украсть норовит до времени обеда; а когда пред обедом «Отче наш» проговорю и благословлю, так той еды и не ест, — просит неблагословенной. И я ему силою в рот напихаю, и он плачет и глотает. И как рыбою покормлю, тогда бес в нем взбунтуется и сам из него говорит: «Ты же-де меня ослабил!» И я, помолясь перед Владыкою, опять пост наложу и усмирю его Христом. Потом маслом его освятил, и избавился он от беса. Жил со мною с месяц и больше. Перед смертью образумился. Я исповедал его и причастил, и он преставился, миленький, скоро. И я, гроб купив и саван, велел погresti его у церкви; как поп сорокоуст я о нем прочел. Лежал он у меня мертвый сутки: и я, ночью встав, помоля Бога, благословя его, мертвого, и с ним поцеловавшись, опять подле него спать лег. Товарищ мой миленький был! Слава Богу о нем! Ныне он, а завтра я так же умру.

Да был у меня и в Москве бесноватый, — Филиппом звали, — когда я из Сибири приехал. В углу в избе прикован был к стене, затем что в нем бес был суров и жесток очень, бился и дрался, и не могли с ним домочадцы сладить. А когда я, грешный, со крестом и со святою водою приду, повинится и, как мертвый, падает пред крестом Христовым, и ничего не смеет мне делать. И молитвами святых отцов сила Божия отогнала от него беса; но только ум его еще несовершен был. Федор-юродивый был над ним приставлен, что на Мезени Христовы отступники удавили за веру, — он Псалтырь над Филиппом читал и учил его Исусовой молитве. А сам я, днем отлучаясь из дому, только ночью действовал над Филиппом. Чрез некое время пришел я от Федора Ртищева сильно печальный, потому что в дому у него с еретиками спорил много о вере и о законе; а в моем дому в то время учинились нелады: протопопица моя со вдовою домочадицей Фетиньей побранились, — дьявол поссорил ни за что. И я, прийдя, побил их обеих и оскорбил сильно, от печали; согрешил пред Богом и пред ними. Потом бес взбунтовался в Филиппе, и начал цепь ломать, бесясь, и кричать непотребно. На всех домашних

напал ужас и сильный крик был. Я же без Святых Даров приступил к нему, желая его укротить; но не вышло, как выходило прежде. Схватил меня Филипп и стал бить и драть; и так, и этак меня, как паука, терзает, а сам говорит: «Попал ты мне в руки!» Я только молитву говорю, да без дел не в помощь и молитва. Домашние не могут отнять, а я и сам ему отдался. Вижу, что согрешил, пускай меня бьет. Но — чуден Господь! — бьет, а ничто не болит. Потом отбросил меня от себя, а сам говорит: «Не боюсь я тебя!» Так мне в тот миг горько стало: «Бес, — говорю, — надо мной волю взял!» Полежал я маленько, с совестью собрался. Встав, жену свою сыскал и стал у нее прощения просить со слезами, а сам, ей в землю кланяясь, говорю: «Согрешил, Настасья Марковна, — прости меня, грешного!» Она мне тоже кланяется. Потом и у Фетиньи тем же образом прощение просил. Потом лег посреди горницы и велел всякому человеку бить меня плетью по пяти ударов по окаянной спине: человек было с двадцать, — и жена, и дети, все, плачущи, стегали. А я говорю: «А кто бить меня не станет, тот да не разделит со мной царство небесное!» И они нехотя бьют и плачут, а я на всякий удар молюсь. Когда же всё отбили, то я, встав, попросил у них прощения. Бес же, видя, что кары не миновать, опять вышел вон из Филиппа. И я крестом его благословил, и Филипп по-прежнему хорош стал. И потом исцелел Божию благодатью ради Христа Иисуса, Господа нашего, Ему ж слава.

А когда я был в Сибири — туды еще ехал — и жил в Тобольске, привели ко мне бесноватого, Федором звали. Жесток же был бес в нем! Соблюдил Федор в Пасху с женою своею, нарушил праздник, жена его сказывала, — да и взбесился. И я, в дому своем держа его месяца с два, молился о нем божеству, в церковь водил и маслом освятил, и помиловал Бог: здрав стал и умом исцелел. И стал со мной на клиросе петь в литургию и при переносе Святых Даров досадила мне. И я тогда, побив его на клиросе, велел пономарю приковать его в притворе к стене. И он, вышатав доску и взбесясь пуще даже прежнего, в обедню ушел на двор к старшему воеводе, сундуки разломал, платье княгинино на себя надел, а их разогнал. Князь же,

осердясь, со многими людьми в тюрьму его оттащили; он и в тюрьме узников бедных всех перебил и печь разломал. И князь велел его в деревню к жене и детям сослать. Он же, бродя в деревнях, великие пакости творил. Всяк бегал от него. А мне его не давали воеводы, осердясь. Я о нем пред Владыкою молился всегда.

Потом пришел указ из Москвы, — велено меня сослать из Тобольска на Лену, великую реку. И, когда в Петров день собрался я на дощаник, пришел ко мне Федор в здравом уме, на дощанике при народе кланяется мне в ноги, а сам говорит: «Спасибо, батюшка, за милость твою, что помиловал мя. По пустыне-де я бежал третьего дня, а ты-де мне явился и благословил меня крестом, и бесы-де прочь отбежали от меня, и я пришел тебе поклониться и снова прошу благословения от тебя». И я, на него глядя, поплакал и возрадовался о величии Божиим, ибо о всех нас печется и промышляет Господь — Федора исцелил, а меня возвеселил! И, наставив его и благословив, отпустил я к жене его и детям домой. А сам поплыл в ссылку, моля о нем Христа, Сына Божия-света, да сохранит Он его и впредь от дьявольщины. А назад едучи, я спрашивал про него, и мне сказали: «Преставился-де после тебя, года три тому, живучи христиански с женой и детьми». Ну, и добро. Слава Богу о том!

Простите меня, старец, и ты, раб Христов, — вы меня понудили сие говорить. А однако, раз уж развякался, — еще вам повесть скажу. Когда в попах еще был, там же, где брата бесы мучили, была у меня в дому вдова молодая, — давно уж и имя ей забыл! Кажется, Ефимьею звали, — ходит, и стряпает, и всё хорошо делает. А как станем в вечер начинать молитву, так ее бес ударит о землю, омертвевает вся, как камень станет, и не дышит, кажется, — растянет ее посреди горницы, и руки, и ноги, — лежит замертво. И я, «О, Всепетая» прочитав, кадиллом стану кадить, потом крест положу ей на голову и молитвы Василиевы при том говорю: так голова под крестом и свободна станет, и баба заговорит, а руки, ноги и тело еще мертво и каменно. И я по руке поглажу крестом, так и рука свободна станет; я — и по другой, и другая также освободится; я и по животу, так баба и

сядет. Ноги еще каменны. Не смею туды крестом гладить, — думаю, думаю — и ноги поглажу, баба и вся свободна станет. Встанет, Богу помолясь, да и мне челом. Вот грех-то, бес иль кто был в ней, много времени так играл. Маслом я ее освятил, так и вовсе отошел прочь. А еще два Василия у меня бесноватые были прикованы, — стыдно и говорить про них: кал свой ели.

А еще сказать ли тебе, старец, повесть? Соблазн, кажется, да было так. В Тобольске жила у меня девица, Анною звали, дочь мне духовная, очень к молитве прилежала церковной и келейной и всей красотой мира этого пренебрегала. Позавидовал дьявол добродетели ее, навел на нее тоску о первом ее хозяине Елизаре, у которого выросла, ибо привезена была из плена калмыцкого. В чистоте девство соблюдала и, когда преисполнилась плодами благими, дьявол попутал: захотела от меня уйти и за первого хозяина замуж пойти, и плакать стала всегда. Господь же напустил на нее беса, смиряя ее, ибо и меня не стала слушать ни в чем и кланяться перестала. Когда начнем молитвы говорить, она на месте станет, прижав руки, да так и простоит. Видит Бог сопротивление, послал беса на нее: стоит на молитве, да и взбесится. И мне, бедному, жаль: крестом благословлю и водою покроплю, так бес и отступит от нее. И много раз так было. А она по-прежнему в безумии своем и непокорстве пребывает. Благомудрый же Бог иначе ее наказал: задремала на молитве, да и повалилась на лавке спать, и три дня и три ночи не пробудясь спала. Я лишь по временам кадилком машу над ней, спящей: еле дышит. Чаю, умрет. А в четвертый день очухалась; села да плачет; есть ей дают, — не ест. Когда я молитву по канону прочел и домочадцев благословя отпустил, то снова начал во тьме без огня поклоны класть; она же с молитвою подошла ко мне и пала мне в ноги; и я, от нее отойдя, сел за стол. И она тогда подошла столу и плачучи говорит: «Послушай, государь, велено тебе сказать». Я стал слушать ее. «Когда, — говорит, — я на молитве задремала и повалилась, подошли ко мне два ангела, и взяли меня и повели узким путем. И на левой стороне слышала я плач, и рыдание, и голоса умиленные. Потом-де меня привели в рай,

весьма прекрасный, и показали-де многие прекрасные жилища и палаты; и всех-де краше палата неизреченною красотою сияет ярче всех, и велика очень. Ввели-де меня в нее, а там стоят столы, и на них постлана скатерть белая, и блюда с яствами стоят. В конце-де стола древо кудрявое веет и красотами разными украшено; в древе-де том птичьи голоса слышала я, а теперь-де не могу про них сказать, до чего умильны и хороши! И подержав меня, назад из палаты повели, а сами говорят: «Знаешь ли, чья палата сия?» И я-де отвечаю: «Не знаю; пустите меня в нее». Они же в ответ: «Отца твоего, протопопа Аввакума палата сия. Слушай его и живи так, как он тебе наказывает персты слагать и креститься, и кланяться, Богу молясь, и ни в чем не противься ему, так и ты будешь с ним здесь. А коли не станешь слушать, так будешь в прежнем месте, где плач-то слышала. И скажи это отцу своему. Мы не бесы, водили тебя; смотри: у нас крылья, а бесы не имеют их». И я-де, батюшка, смотрела, — как у ангелов, бело у их ушей-то». Да и поклонилась мне, прощение прося. Потом снова исправилась во всем. Когда меня сослали из Тобольска, оставил я ее там у сына духовного. Хотела постричься, а дьявол опять сделал по-своему: пошла за Елизара замуж и деток прижила. А чрез восемь лет услышала, что еду я назад, отпросилась у мужа и постриглась. А когда замужем была, по временам Бог наказывал, — бес мучил ее. Когда ж я в Тобольск приехал, за месяц до меня постриглась и принесла ко мне два детища, и, положив предо мной ребятишек, плакала и рыдала, каялась и не стыдясь себя порицала. Я ж, пред людьми смиряя ее, многожды на нее кричал; а она прощения просит за преступление свое, кается перед всеми. И когда я ее довольно утрудил, то простил совершенно. В обедню за мной в церковь вошла. И напал на нее бес во время переноса Святых Даров, — начала кричать и вопить, собакою лаять, и козой блеять, и кукушкою куковать. И я сжалился над ней: перестал херувимскую петь, взял от престола крест, на клирос взошел и закричал: «Запрещаю тебе именем Господним; полно, бес, мучить ее! Бог простит ее в сей век и в будущий!» И бес изошел из нее. Она же пришла ко мне и

предо мною пала за свою вину. Я же крестом ее благословил и с того времени простил, и стала она здрава душою и телом. Со мной и на Русь выехала. И когда меня стригли, в том году страдала с детьми моими от Павла митрополита на патриарховом дворе веры ради и правоты закона. Довольно терзали и мучили ее. Имя ее в монашестве Агафья.

Ко мне же, отче, в дом принашивали матери деток своих маленьких, больных грыжной болезнею; а у меня детки тоже когда болели во младенчестве грыжею, я маслом священным, с молитвой пресвитерской, помажу им всё и, на руку масло положа, младенцу спину вытру и мошонку, — и Божиею благодатию грыжная болезнь пройдет во младенце. И тут у кого вылезала грыжа, я так же делал: и Бог совершенно исцелял по своему человеколюбию.

А когда я еще был попом, с первых времен, как в подвиг входить стал, бес меня вот как пугивал. Занемогла у меня жена сильно, и приехал к ней отец духовный; я же среди ночи со двора пошел в церковь за книгой, по какой исповедывать ее. И когда на паперть пришел, столик, кой до того стоял, бесовским действием, когда я пришел, заскакал на месте своем. И я, не усташась, помолился пред иконой, осенил рукой столик, и подойдя поставил его, и перестал он играть. А когда я в трапезную вошел, тут иная бесовская игра: мертвец на лавке в трапезной во гробу лежал, и бесовским действием верхняя раскрылась доска, и саван шевелиться стал, устрашая меня. Я же, Богу помолясь, осенил рукой мертвеца, и опять стало тихо всё. А в алтарь я вошел, так тут ризы и стихари летают с места на места, устрашая меня. Я же, помолясь и поцеловав престол, рукой ризы благословил и пощупал, подойдя, и они опять повисли. Потом, книгу взяв, из церкви пошел. Таково-то ухищрение бесовское к нам! Да полно о том говорить. Чего только крестная сила и священное масло над бесноватыми и больными не творят благодатию Божиею! Да нам надобно помнить: не нас ради, не нам, но Своему имени славу Господь дает. А я, грязь, что могу сделать, если б не Христос? Плакать мне подобает о себе. Иуда чудотворцем

был, да сребролюбия ради ко дьяволу попал. И сам дьявол на небе был, да сластолюбия ради изгнан был и пять тысяч пятьсот лет во аде был осужден. О том памятуя, всяк, кто мнит, что устоит, берегись, чтоб не упасть. Держись за Христовы ноги и Богородице молись, и всем святым, так и будет хорошо.

Ну, старец, моего вяканья много ведь ты слышал. Именем Господним повелеваю тебе, напиши и ты рабу Христову, как Богородица беса-то в руках помяла и тебе отдала, и как муравьи тебя ели за тайные-то уды, и как бес дрова сжег, и как келья твоя обгорела, а в ней цело всё, и как ты кричал на небо-то, да и иное, что вспомнишь во славу Христу и Богородице. Слушай, что говорю: не станешь писать, я ведь и осержусь. Любил меня слушать, чего уж там, — уж расскажи сам хоть немножко! Апостолы Павел и Варнава на соборе тоже сказывали в Иерусалиме перед всеми, какие сотворил Бог в народах знамения и чудеса с ними, в Деяниях, стих 36 и стих 42, и прославляли имя Господа Иисуса. И многие веровавшие приходя исповедывали и говорили о делах своих. И много еще такого найдется в Апостоле и в Деяниях. Сказывай, не бойся, лишь совесть чистой держи; не себе славы ища, говори, но Христу и Богородице. Пускай раб-то Христов веселится, читаючи! Как умрем, так он прочтет да помянет нас пред Богом. А мы за чтущих и слушающих станем Бога молить; наши они люди будут там у Христа, а мы их, во веки веков. Аминь.

В.А.МЯКОТИН

**ПРОТОПОП АВВАКУМ.
ЕГО ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

От автора

Написать полную биографию Аввакума, этого первоапостола и главного борца раскола, значило бы вместе написать и историю самого раскола за первые двадцать лет его существования. Но эта задача во всем ее объеме, конечно, не могла входить в скромные рамки настоящего очерка. Предстояло таким образом из всего разнообразного материала, даваемого этой богатой событиями жизнью, избрать наиболее важную и характерную сторону и неизбежно оставить до некоторой степени в тени остальные. Такой наиболее существенной стороной в жизни Аввакума является, несомненно, идейное ее содержание, представляющее собою яркую страницу из истории того умственного движения, какое происходило в Московской Руси 17-го столетия.

При этом, однако, я считал невозможным обойтись без указания на происхождение самого движения, и этой цели служит первая глава, являющаяся ничем иным, как сводом высказанных в литературе положений, но и в таком своем виде, быть может, небесполезная. В тесной связи с указанным взглядом поставлено и все изложение биографии, в котором главное внимание обращено на изображение идейной стороны движения, тогда как подробности бытовой обстановки отступают на второй план. Довольствуясь теми из них, какие заключаются в сочинениях самого Аввакума, и, не привлекая к делу в этом случае других источников, я вместе с тем и изображение внутренних отношений раскольничьей общины вводил в свой рассказ лишь постольку, поскольку оно могло служить для главной цели последнего — уяснения характера и развития идей раскола.

В. Мякотин

Источники

Главным источником для биографии Аввакума служат его собственные сочинения, напечатанные Н.Субботиним в его издании «Материалы для истории раскола за первое время его существования» (тома I, V, VIII; отдельные указания и материалы рассеяны и по другим томам), и А.Бороздиним в его книге «Протопоп Аввакум», СПб., 1898 г., приложения. Указания на литературу желающие могут найти в книге А.Пругавина «Раскол—сектантство», М., 1887, и у С.А.Венгерова в его «Критико-биографическом словаре русских писателей и ученых», вып. 1, СПб., 1886, стр. 24—5.

I

УМСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОГО НАРОДА В ЭПОХУ ПОЯВЛЕНИЯ РАСКОЛА

История каждого народа знает эпохи более или менее крутого перелома умственной жизни нации, более или менее резкого разрыва ее со старыми преданиями и традициями.

В жизни русского народа одной из наиболее замечательных эпох такого рода была вторая половина 17-го века, начавшая собою новый период в истории умственного развития страны и надолго разъединившая жизнь общества и народной массы. Посвящая настоящий очерк жизни одного из главнейших деятелей названной эпохи, мы позволим себе, однако, начать свое изложение изда-лека — с тех событий, которые подготовили умственный кризис, пережитый Россией в 17-м столетии.

К концу 15-го века исчезла независимость отдельных северно-русских земель и княжеств и на месте ряда самостоятельных политических единиц сложилось единое Московское государство. Это обращение Москвы из удельного княжества в национальное великорусское государство должно было задать немалую работу народной мысли, побуждая ее вдуматься в новые факты и сделать из них соответствующие выводы. Последние и не замедлили появиться, приняв притом такое направление, какое указывалось самими условиями, сопровождавшими воз-вышение Москвы и содействовавшими ему.

То национальное знамя, которое поднято было Моск-вой и освящало собирательную политику московских князей, превращая ее из династической в народную, очутилось в руках этих князей благодаря борьбе их с та-

тарами. Но еще раньше, чем эта борьба приняла благоприятный для русского народа характер, она отразилась в его жизни многочисленными последствиями. Татарское нашествие обрушилось на Русь в тот момент, когда умственная деятельность народа только что начинала принимать более широкие размеры, и вновь сузило круг этой деятельности, ограничив ее одним церковным просвещением.

В свою очередь, стремление освободиться от чужеземного и вместе иноверческого ига повышало религиозное сознание и придавало ему характер исключительности в то самое время, когда, благодаря невольному отчуждению от всех усилий народа на политическую организацию с целью вернуть себе самостоятельность, слабело и падало просвещение. В 15-м веке слышатся постоянные жалобы на падение и того скудного образования, какое имелось на Руси. Церковные иерархи все чаще заявляли, что им приходится ставить в священники людей, которые «едва грамоте умеют», плохо читают священные книги, а писать и совсем не могут. Там, где среди класса, наиболее образованного уже по одному своему положению, была слабо развита простая грамотность, не могло, конечно, быть и речи о существовании сколько-нибудь серьезного образования.

Наряду с этим национально-религиозная исключительность принимала с течением времени все более широкие размеры. Внушения нетерпимости, издавна шедшие из Византии, не распространявшиеся в до-татарский период своего влияния за пределы духовенства, теперь приобрели широкую популярность в массах. Находясь под владычеством татар и относясь к ним с понятным враждебным чувством, русский народ привык противопоставлять им себя не только в племенном, но и в религиозном отношении, привык отличать себя, как православных христиан, от «поганных», «басурман», и понимать себя, как защитника христианства от этих басурман, видя в борьбе с ними в некотором роде свое призвание.

В конце 15-го века самый тяжелый акт борьбы с татарами был закончен: вновь создавшееся государство Московское сломало их владычество над Русью, но то чувство, с каким велась эта борьба раньше, осталось и про-

должало влиять на выработку народного мировоззрения. Мало того, — оно распространилось теперь еще и в другую сторону.

Нарушенная связь с Западом не могла быть восстановлена тотчас по уничтожению татарского ига: между Западом и московской Русью стояло литовско-польское государство, такое враждебное ей и покушавшееся на ее самостоятельность. На борьбу с этим государством, хотя и христианским, но все же иноверческим, московские люди перенесли те взгляды на себя и своих противников, какие они выработали в борьбе с язычниками, позднее мусульманами. Польские и литовские католики также получают в устах москвичей название «поганых», «латинство» под влиянием естественного раздражения в борьбе и византийских увещаний представляется не менее грозным врагом православия, чем имагометанство. Самое общение с католиками начинает считаться грехом, и в кормчих появляются под видом «заповеди св. апостол и св. отцов» правила, подобные следующему: «аще в судне будет латина ела, то, измывши, молитва сотворити и у латинской церкви не стояти».

Поставленное ходом исторических событий среди враждебных иноплеменных и иноверных соседей, московское государство воспитало таким образом в себе взгляд, отождествлявший его национальность с религией и ставивший последнюю как бы конечною его целью. Христианство отделяло Москву от татар, православное исповедание отличало ее от западных христиан, и в том и в другом случае народ представлялся самому себе обладателем высшей религиозной истины и растил в своей среде национально-религиозную нетерпимость.

Политические успехи московского княжества в борьбе с соседями прибавили к этой нетерпимости еще новый оттенок. Под влиянием этих успехов московские люди начали считать себя выше всех других людей, свое государство лучше всех остальных. Согласно их воззрению, все иные, неправовверные страны лишены были благодати, почившей на Москве, и потому не могли равняться с нею. Иностранцев, знакомившихся с русским бытом в 16 веке, особенно поражала эта черта заносчивого московского высокомерия и распространенный в Москве взгляд

на чужие земли, как на вместилища неправоверия, ереси и соблазна. Такой взгляд достиг своего апогея, когда в район его были включены не только страны католические и мусульманские, но и православные, и прежде всего та самая страна, которая в течение веков была единственной учительницею и наставницею Руси в деле веры, — Византия.

В то самое время, когда Москва получила перевес над своими врагами и начала возвышаться быстрее, связывая с этим возвышением мысль о защите православия, Византия все более и более слабела под натиском турецкого могущества и делала последние, тщетные попытки сохранить свою самостоятельность. Стремясь к этой цели, византийское правительство искало себе помощи у западных народов и, думая сделать такую помощь более вероятной и действительной, решилось на соединение церквей, результатом чего была известная Флорентийская уния. В подчиненной Константинополю в церковном отношении Москве взглянули на эту унию, как на измену православию, и такой измене готовы были приписать самое взятие Царьграда турками и падение греческой империи.

Москва, успевшая воспитать в себе ожесточенную вражду к латинству, счастливая в своих политических предприятиях, оказалась непримиримее своей руководительницы в делах религии и высказала явное неповиновение греческой метрополии. Русский князь не принял унии, привезенной в Москву митрополитом Исидором; последний за присоединение к ней был свергнут и заточен, а на его место был выбран русскими иерархами новый митрополит без ссылки с Константинополем. Эти события окончательно укрепили среди москвичей убеждение, что православие в чистом своем виде сохранилось только на Руси, которая и должна теперь исключительно на себя принять его защиту и охрану.

Такое противопоставление московской Руси другим православным странам наполняло отрадой и гордостью сердца московских патриотов. «Сия убо вся благочестивая царствия, — писал один из них, — греческое и сербское, басанское и арбаназское, грех ради наших Божиим поущением безбожнии турци поплениша и в запустение положиша и покориша под свою власть. Наша Руссийская

земля Божиею милостию и молитвами пречистыя Богородицы и всех святых чудотворец растет, и младает, и возвышается. Ей же, Христе милостивый, даждь расти, и младаети, и расширяться и до скончания века». Все православные страны потеряли свою независимость, потеряли потому, что не сумели сохранить самого православия, одна Москва не только не пала, но еще все усиливается. Естественно было появиться мысли, что в этом виной большее правоверие Москвы сравнительно с другими, и такая мысль, действительно, не замедлила зародиться. Другой писатель-патриот, рассказывая о Флорентийском соборе, влагает уже в уста императора Иоанна такие лестные для Москвы слова «яко восточнии земли суть большее православие и высшее христианство — Белая Русь». Постепенно развиваясь, мысль об утрате греками чистоты веры и первенства в православном мире и о замене в этом отношении Византии Москвою нашла себе, наконец, полное выражение в сказании о трех Римах.

Два было Рима, утверждал псковский старец Филофей: первый был велик и славен, но увлекся в папскую ересь и пал, его значение и слава вместе с правой верой перешли на второй Рим — Византию. И эта последняя после долгого времени тоже свернула с пути истины, изменила православию, приняла латинскую ересь и в наказание за это предана агарянам; на месте соборной церкви града Константина воцарилась мерзость запустения, а православная вера «испроказилась Махметовой прелестью от безбожных турок». Прежнее значение этих двух Римов перешло на третий — Москву, где процвело благочестие и воссияла благодать, где вера сохранилась чистой и неврежденной. Уже не храм св. Софии в Царьграде, а Успенский собор в Москве является центром православного мира. Политические успехи Москвы ставились таким образом русскими книжниками в тесную связь с сохранившимся в ней правоверием и даже исключительно объяснялись последним. Вместе с тем оно сообщало московскому государству новое значение главы православия. Единственное уцелевшее из православных государств в силу этого взгляда ставилось выше всех остальных, облакалось авторитетом наибольшей религиозной высоты, перед которой должны были приклониться другие народы. В московских литера-

турных произведениях появляются даже предсказания, что все христианские царства сойдутся в одно царство русское, «православия ради», и, как бы в виде предвестников этого, возникают одна за другою легенды о чудесном переходе христианских святынь из неправоверных Рима и Византии в московское государство.

На этой стадии своего развития национальное самознание доходило уже до степени своеобразного мессианизма. Русский народ представлялся самому себе избранным сосудом Божиим, на котором почиет благодать свыше, недоступная никому другому иначе, как через его посредство. Он, и один только он, хранил в себе великую истину, способную разрушать и создавать царства, губить и воздвигать народы, все остальные племена земного шара уклонились в большей или меньше степени от правого пути и, желая вновь вступить на него, должны были искать указаний и помощи в правоверной и благочестивой Москве, сохранившей в своих стенах незатемненным свет истинного учения, а наибольшая вероятность спасения предоставлялась этим народностям в том случае, если бы они, покинув свои ереси и заблуждения, «православия ради» признали над собою власть московского царя. Русские же люди, чтобы не испестрить своей веры иноземными ересями, должны были избегать всякого общения с чужеземцами. Полное и абсолютное превосходство естественно предполагало замыкание в собственной среде и отстранение от всех других народностей.

Тем временем русское «правоверие» получило, действительно, особый вид, отличавший его от иных православных церквей. Было вполне естественным явлением, что на первых порах существования христианства в России из всех его сторон получили преобладание практическая нравственность и обрядовая форма, но, когда и с течением времени не развилось более серьезное образование, которое дало бы возможность и большей глубины и сознательности религиозного мышления, тогда форма окончательно получила перевес над содержанием. Более доступная грубому уму, она сосредоточивала на себе все его внимание, отвлекая его от иных, более серьезных вопросов. Уже под 1476 годом можно прочесть в 4-й новго-

родской летописи такую запись: «той же зимы некоторые философов начаша пети: «О Господи помилуй», а друзеи: «Господи помилуй». Если это разногласие, эти споры «философов» заносились в летопись как важное событие, то легко себе представить, каким убожеством отличалась русская религиозная мысль того времени.

Между тем с развитием обрядности, не дававшей места живому пониманию религии, соединилось невежество, не позволявшее сохранить в неизменности даже внешнюю ее форму. Начались споры о том, два или три раза петь аллилуйя, двумя или тремя пальцами креститься и т.п., и в подобных прениях не раз «не могли доспеть» отцы нарочно для их разрешения созванных соборов. С той поры, однако, как русская земля была признана единственной обладательницей чистой веры, нашелся и критерий для разрешения подобных споров. Там, где русский обряд разногласил с греческим, правильным признавался первый, и таким путем не мало искаженных обрядов и случайных ошибок переписчиков священных книг было введено в практику русской церкви.

Отсутствие серьезной, вооруженной знанием и критической мысли в сфере религиозных отношений повело еще и к другому последствию. Нравственные требования, какие ставила церковь своим членам, равным образом выродились в сухую и мертвенную обрядовую форму и опирались гораздо более на внешнее принуждение, чем на сознательное и свободное самоопределение личности. Соответственно этому определялось и их применение в житейской практике: для одних они потеряли всякое серьезное значение, оставаясь одною внешнею сдержкой, мало препятствовавшей на деле разгулу страстей, других буквальное следование форм увлекало в мрачный и односторонний монашеский аскетизм.

Чем гуще становился с течением времени окутывавший московскую Русь мрак невежества, тем удушливее делалась атмосфера умственной жизни народа, тем менее находило себе оправдания на практике гордое самовосхваление московских книжников. Эти явления не ускользнули от наблюдения живших в то время в Москве иностранцев, которые в своих сочинениях о московском госу-

дарстве оставили нам печальную картину необразованности народа.

Но не так смотрели на дело сами московские люди. Тот, полный оптимизма, взгляд, какой выработался у них на окружающую их действительность, те мессианистические воззрения, какие они связывали с настоящим и будущим своей страны, в дальнейшем своем развитии неизбежно приводили их к полному квиэтизму. Москве незачем было заботиться о движении вперед, о развитии каких-либо новых начал, когда и старые не только спасали ее, но еще доставляли ей выгодное и лестное положение третьего Рима, идеального центра вселенной. Ей предстояло только сохранить в целостности известную форму религии, в народном представлении неразрывно связанную уже с самою национальностью, и этого было достаточно для решения вопроса о настоящей и будущей жизни народа. Самая связь религии с народностью, благодаря своей продолжительности и исключительности, сделалась обоюдной; слова «русский» и «православный» стали синонимами и, если, с одной стороны, в состав национально-русского элемента воспринято было понятие православия, то с другой — все народные обычаи, понятия и нравы, хотя бы они совсем и не входили в религиозную область, крестились тем же именем православия, раз только они не стояли в резком и осязательном противоречии с учением церкви.

При таком проникновении всей народной жизни религиозным элементом, соединявшемся еще с представлением о последнем, как о «большем православии» и «высшем христианстве», само собою, не представлялось никакой надобности в усвоении иного образования. Напротив, это последнее, на какой бы ступени развития оно ни стояло, оказывалось жалким и не заслуживающим внимания по сравнению с тою истиной, какая уже находилась в обладании народа. «Братия, не высокоумствуйте, но во смирении пребывайте, по сему же и прочая разумевайте!» — писали в ту эпоху в поручениях и переписывали в школьных прописях. — «Аще кто ти речет: веси ли всю философию, и ты ему рци: еллинских борзостей не текох, риторских астрономов не читых, ни с мудрыми философами не бывах, философию ниже очима видех:

учуся книгам благодатного закона, аще бы мощно моя грешная душа очистити от грех».

Московские люди смутно уже знали, что есть и другая наука, что эта иная наука, отнимавшая у них их привилегированное положение, зародившаяся в полных ереси чужих странах, возбуждала в них только недоверие и вражду, казалась противоречащей не только тому значению, какое присваивала себе Москва во имя хранившегося в ней православного христианского учения, но и самому этому учению. Московские книжники не задумывались поэтому отворачиваться от этой неправовой науки и даже предавать ее проклятию. В одном из древних поучений можно прочесть по ее адресу такие фразы: «богомерзостен перед Богом всяк любяй геометрию, а се душевнии греси: учиться астрологии и еллинским книгам... проклиною мудрость тех, иже зрят на круг небесный; своему разуму верующий удобь впадает в прелести различныя; любя простыню (простоту) паче мудрости; величайшаго себе не изыскай и глубочайшаго себе не испытай, а елико ти предано от Бога готовое учение, то содержи». Усвоение всяких светских знаний, выходивших из тесных рамок обыденного житейского опыта и касавшихся сколько-нибудь более серьезных вопросов, представлялось с этой точки зрения безумным грехом.

Жизнь одного народа со всеми ее отклонениями противопоставлялась жизни всего человечества, как нечто образцовое, и все научные приобретения, все завоевания культуры должны были померкнуть перед «готовым учением», данным одной народности, незнакомой с «эллинскими борзостями». Этот счастливый народ должен был только ревниво беречь свое, полученное от предков, сокровище, как огня чуждаясь общения с иноземцами. При этом обязанность наблюдения за сохранением данного строя жизни лежала на иерархии, не только духовной, но и светской, которая, входя сама в состав порядка, освященного религией, должна была на охрану последней прежде всего обращать свою власть. Умственная самостоятельность всего народа сводилась к нулю. Всякое изменение, всякое, самое незначительное, отступление от установившихся порядков было тяжким грехом и вместе преступлением, так как оно колебало краеугольный камень

всей системы — веру в исключительное правоверие Москвы. Но такое отречение от умственной деятельности, от дальнейшего свободного развития, от общения с иноземцами еще поддерживало, развивало и укрепляло те заблуждения и ошибки, которые уже вкрались в умственную и, в частности, религиозную жизнь народа.

Проявление невежества и суеверия в этой жизни по временам останавливали на себе внимание отдельных, более просвещенных и мыслящих людей московского общества и порою вызывали даже у некоторых церковных иерархов стремление исправить зло, но такое исправление было при данных условиях очень трудно и благие пожелания оставались неисполненными. В своей среде не хватало для этого необходимых сил в виде образованных людей, а на тех людей даже православного Востока, которые могли бы взяться за такое дело, в Москве готовы были смотреть, как на еретиков, в то самое время, как национальное самомнение в связи с уважением к обрядности заставляло видеть неприкосновенную святыню в каждой букве священной книги, в каждой подробности родного обряда.

Характерна в этом смысле история Максима Грека. Ученый афонский монах, он приехал в Москву для разбора великокняжеской библиотеки и здесь ему поручили просмотр и исправление церковных книг, испорченных невежественными переписчиками. Его исправления вызвали, однако, сильные жалобы: «велию, о человеце, — говорили ему московские люди, — досаду тем делом прилагаеши в земли нашей чудотворцем: они бо сицевыми книгами благоугодиша Богови». Максим подвергся обвинению в ереси и был заточен в монастырь. Один из помогавших ему писцов рассказывал впоследствии, что великий ужас и трепет объяли его, когда Максим велел ему вычеркнуть несколько строк в исправляемой книге. Великий ужас и трепет охватывали и большую часть московского общества всякий раз, как оно видело покушение изменить что-либо в родной «святой старине». При таком положении усилия отдельных иерархов церкви не приводили ни к какому результату и, оканчиваясь постоянным поражением, все более ослабевали. В текст богослужбных книг широкой струей вливались различные ошибки, а

люди, пытавшиеся противодействовать этому, платились за свои попытки годами жестокого заключения, как это было с архимандритом Троицкой лавры Дионисием. Под знаменем исключительного русского правоверия освящались все частные заблуждения, приобретая характер национального отличия и религиозного правоверия. Восставать против них значило идти против народности и религии, и немудрено, что такие восстания влекли за собою тяжкую кару, как нарушение извечных порядков, освященных всем авторитетом народного предания.

Так узко-националистический принцип мессианизма в конечном своем развитии поглотил все соединившиеся с ним элементы, по отношению к которым он первоначально играл лишь служебную роль, и, приобретя себе первенствующее значение, вместе с тем неизбежно исключал всякое сознательное и живое стремление вперед. Проповедуя безусловное поклонение старине, он вел к полному застою умственной жизни народа и заграждал ему все пути дальнейшего развития. Конечным словом, последним результатом этой долго слагавшейся системы была полная остановка умственного роста народа, замерзание его на однажды выработанных точках зрения, отречение от всего остального человечества во имя своего идеального совершенства и медленная смерть за китайской стеной, воздвигнутой его собственными усилиями.

Но в то самое время, когда договаривалось последнее слово этой теории, в народной жизни возникло иное стремление, которому суждено было разбить крепкую броню национальной исключительности московского общества и вывести его на более широкий путь развития. Такое стремление было вызвано теми условиями политической обстановки, в каких очутилось московское государство с началом 17-го века.

Исходным пунктом религиозно-националистических идей Москвы послужили ее политические успехи, помогшие ей создать единое государство из разрозненных северно-русских земель и удачно защищать затем самостоятельность этого государства от враждебных покушений на нее. Почти до самого конца 16-го столетия продолжались эти удачи Москвы в области внешней политики, совершаясь за счет ее соседей. В том тесном круге

политических отношений, в котором вращалось московское государство до последних десятилетий 16-го века, оно одержало несомненное, хотя и не полное, торжество, и немудрено, если возбужденному воображению москвичей при их ограниченном политическом кругозоре это торжество представлялось победой русского правоверия над латинством и мусульманством, и в нем готовы были провидеть начало соединения всех царств под руку светлого и благоверного царя московского. Но именно эти внешние успехи и послужили затем толчком к изменению отношений между Москвой и ее соседями, постепенно повлекшему за собой весьма серьезные перемены как в государственном строе Москвы, так и в складе самосознания ее населения. Дело заключалось прежде всего в том, что путем своих успехов в международных отношениях московское государство вышло на более широкую политическую арену и вызвало против себя более грозные силы, чем те, с какими ему приходилось считаться раньше. Из-за старых врагов Москвы — Литвы и татар, от которых она обороняла русскую землю, в конце 16-го века поднялись новые и гораздо более опасные, в лице Польши и Турции.

Нельзя сказать, что теория, ставившая Москву центром и главою православия, не предвидела таких результатов: она указывала на необходимость борьбы, которая теперь возникала, но, ставя свои теоретические положения, плохо рассчитала их отношение к действительности. Когда московское правительство, расширяя свои завоевательные планы, попыталось пробиться к морю и приобрести Ливонию, оно натолкнулось на энергичное сопротивление Польши и Швеции и потерпело в этой борьбе решительную неудачу. Вслед затем и вообще отношения московского государства к Польше на некоторое время приобрели характер как раз обратный тому, какой имели отношения Москвы к Литве. Пользуясь тяжелым положением государства, разоренного борьбой и потрясенного внутренними смутами, Польша в свою очередь перешла в наступательное положение и с оружием в руках внесла даже католическую пропаганду в русские пределы. Лишь грандиозное напряжение сил народа сохранило Москве ее самостоятельность и восстановило равновесие борющихся-

ся сторон, и лишь восстание против Польши Малороссии и присоединение ее к Москве вновь доставило последней перевес в этой борьбе. Но наличие других опасных противников в лице Турции и Швеции заставляла ее тем не менее все увеличивать напряжение своих сил.

Так первым результатом перемены в положении московского государства было расширение арены его международной борьбы и увеличение опасности последней. Такое расширение в свою очередь повлекло за собою сближение московской политики с аналогичной ей политикой некоторых западноевропейских государств и усиление дипломатических сношений. В 17-м веке политический кругозор московских людей делается таким образом шире: Москва ведет борьбу с более значительными государствами и временами вовлекается в планы иных держав, государств западноевропейского мира, с которыми заключает союзы для совместных действий против общих врагов. То и другое обстоятельство, сами по себе еще не особенно важные, приобрели крайне серьезное значение, как скоро оказалось, что московское государство, оставаясь при старых средствах, не в силах удовлетворить требованиям нового своего положения.

В самом деле, силы противников были настолько велики и настолько лучше организованы, что борьба с ними являлась для московского государства чересчур тяжелой, несмотря на самое настойчивое напряжение сил народа в рамках старой системы, несмотря на доведение этой системы до ее последних крайностей. Московская армия, хотя и увеличенная в несколько раз, оказывалась неспособной устоять перед западными регулярными войсками; московская казна, невзирая на все увеличивавшиеся победы, с году на год пустела, и государство видело себя вынужденным изыскивать новые средства борьбы. Такие средства имелись в руках иностранцев, как убедили в этом враждебные и мирные сношения с ними, и в видах самосохранения государство прибегло теперь к заимствованию этих средств. Под влиянием сознанный нужды начались приглашения иностранцев на службу московского государя и поселение немалого количества их в Москве, результатом чего для московского общества явилось и некоторое знакомство с западноевропейской культурой.

По мере расширения такого знакомства в общество стали проникать и новые идеи. Это общество, так гордившееся своим превосходством, внезапно увидело себя в положении настолько затруднительном, что не могло выйти из него собственными силами и должно было обратиться к чужой помощи, к тем самым нечестивым иноземцам, которые занимали такое низкое место в его мнении. Уже одним этим наносился тяжелый удар взглядам, воспитавшимся на почве исключительного национализма, но он сделался еще чувствительнее, когда призванное на помощь иноземное влияние переступило те границы, какие были первоначально ему указаны. Пользуясь помощью иноземцев в деле военной техники, к которой вскоре присоединилась и промышленная, московское правительство, равно как и общество, вовсе не думало изменять своих общих взглядов на чужие земли. Но такое изменение являлось уже только вопросом времени после того, как пробита была первая брешь в стене национальной исключительности, преграждавшей раньше доступ всякому чуждому влиянию.

К половине 17-го столетия число поселившихся в Москве иностранцев достигло весьма значительной цифры. Около этого же времени совершилось присоединение Малороссии, — страны, которая, благодаря особым условиям своего существования под польским владычеством, успела развить у себя в значительных сравнительно с Великороссией размерах просвещение, сосредоточив его по преимуществу на религиозной почве. Служилые иноземцы — с одной стороны, малороссы — с другой доставили московским людям богатый материал для сравнения их жизни с чужою, и выводы, какие явились из подобного сравнения, способны были поразить своею неожиданностью.

Русские люди при сопоставлении себя с чужеземцами стали сперва смутно, потом все более и более отчетливо сознавать ту истину, которую давно уже повторяли наблюдавшие их жизнь иностранцы, но которая до сих пор была решительно чужда самому русскому обществу, — именно, что оно страдает отсутствием настоящего образования. Перед этим обществом раскрывалась иная, неизве-

стная ему раньше жизнь, иной мир, и сравнение его с московским бытом порождало мысль о коренном различии между ними: один представлялся построенным на образованности, на науке, в другом последняя совершенно отсутствовала, так как «русские люди... в государстве своем научения никакого доброго не имеют и не приемлют». Первый был богаче, сильнее, искуснее второго и манил к себе всеми наслаждениями, какие могла обещать высшая и более утонченная культура. С того момента, как сознание этого различия проникло в среду московского общества, мир последнего был нарушен. Оно увидало теперь необходимость в общении с другими народами подвергнуть проверке систему, созданную им в то время, когда народ впервые увидел себя заключенным в одно государство, и, как раньше его самосознание выработалось под влиянием отношений к соседям, так теперь изменение этих отношений повело к критике ранее выработанных формул.

Естественно, такая критика появилась не сразу. Ей предшествовали простые заимствования от иностранцев в области материального быта. Как государство стремилось перенять у иноземцев их военную и промышленную технику, так отдельные лица, по преимуществу из среды высшего класса, стали перенимать подробности домашней обстановки, вводить к себе продукты европейской промышленности и искусства. Следом за этой первоначальной стадией заимствования неизбежно являлась, однако, и вторая, более сознательная, в виде пробуждения критического отношения к родной обстановке, в результате которого возникали неудовлетворенность старыми формами жизни и стремление ближе ознакомиться с иноземной культурой и с помощью ее исправить домашние неполадки. К половине 17-го столетия в Москве было уже не мало лиц, которые стремились к разнообразным заимствованиям от иноземцев, начиная с внешних форм и кончая не существовавшим на Руси светским образованием. Но на этот путь ступила только одна часть общества. Другая увидела в переменах, прокрадывавшихся в московский быт, начало измены извечным преданиям православия, и это побудило ее еще крепче ухватиться за

эти предания, еще настойчивее пропагандировать их. Однако и эта часть общества под влиянием событий потеряла свое прежнее спокойно-горделивое настроение. Неудачи московского государства и перемены, происходившие в русском быту, внушали ей тревожные опасения за будущее Москвы, еще недавно рисовавшееся в таком лучезарном свете.

Для людей, отождествлявших Москву с третьим Римом и московский быт с православием, перемены этого быта знаменовали собою падение последнего центра правоты и предвещали близкую кончину мира. Для того и другого назначались даже определенные сроки и эти мрачные предсказания встречали большое внимание среди возбужденного общества. Между прочим, широкую популярность приобрело предсказание так называемой Кирилловой книги, составленной черниговским протопопом Михаилом Роговым. Согласно ее указаниям, сатана был связан на 1000 лет после Рождества Христова и это была лучшая эпоха в истории церкви; после нее совершилось отпадение римской церкви в латинство, через 600 лет Западная Русь отпала в унию, а через 60 лет той же судьбы должна была остерегаться Русь Восточная.

Таким образом, ближайшим результатом сближения с иноземцами, вызванного нуждами государства, явилось разделение общества на враждебные партии. С какого бы пункта не начиналась эта вражда, она неизбежно приводила противников на почву церковных порядков, так как весь государственный и общественный быт Москвы до мельчайших его подробностей в сознании людей той эпохи проникался и освещался религиозным принципом. Развитие государственной жизни подготовило борьбу среди московского общества и определило ее поприще. Дело стало за борцами, и они не замедлили явиться.

II

ЖИЗНЬ АВВАКУМА ДО ПЕРВОЙ ССЫЛКИ

Около 1620 года у священника села Григорово за рекой Кудмой, в нынешнем Княгининском уезде Нижегородской губернии, родился сын, названный Аввакумом. О годах его детства и ранней юности мы знаем очень немного, да и то, что знаем, сохранил нам лишь сам он в своей автобиографии, известной под именем «Жития протопopa Аввакума». Тем не менее и в этих скудных сведениях можно найти кое-какие характерные черты, бросающие хоть некоторый свет на те условия, при которых ребенок сложился и вырос в мужа, и на тот путь, каким шло развитие его ума и характера.

Отец Аввакума, григоровский священник Петр, страдал пороком пьянства «прилежаше пития хмельнаго», как выражался о нем впоследствии сын. Мать последнего, по имени Мария, напротив, была «постница и молитвенница» и по смерти мужа постриглась даже в монахини. Так уже в семейной обстановке Аввакума соединились два противоположные начала, существовавшие рядом в русской жизни того времени, несмотря на взаимную враждебность, — нравственная распущенность и строгое обрядовое благочестие, граничившее с аскетизмом. Насколько и как именно уживались две такие несходные натуры в семейной жизни, остается неизвестным, но во всяком случае это существование двух резко расходящихся влияний не могло остаться без заметного отражения на стоявшем между ними организме ребенка. С ранних лет должно было оно развивать и повышать в последнем нервность, вызывая интерес к таким вопросам, которые оставались чуждыми для большинства его сверстников. Противопоставления небесного земному,

загробного мира здешнему рано предстали перед молодым умом в устах близких людей и приковали к себе его внимание. При установившемся уже настроении, при развившейся чуткости к вопросам этого рода достаточно было самого простого, по-видимому, случая, чтобы закрепить то и другое и сделать их господствующими чертами характера, и такой случай, конечно, не замедлил представиться. Пришлось раз мальчику увидеть на дворе у соседа смерть какой-то скотины; на юный ум, подготовленный частыми толками окружающих о человеческой жизни и смерти, эта реальная картина смерти произвела удручающее и решительное впечатление: представление об ужасе и неизбежности смерти, об ежеминутной возможности гибели неизгладимыми чертами врезалось в нем и ночью ребенок, поднявшись с постели, с плачем начал молиться перед образом «о душе своей, поминая смерть». С той поры он и до конца жизни не оставлял уже обычая тайной ночной молитвы.

Первые же впечатления сознательной жизни ребенка направляли таким образом его мысли и интересы в определенную сторону. Полное решение возникающих отсюда вопросов возможно было, однако, лишь в более широкой сфере, и Аввакум нашел ее со временем в книгах, в занятиях чтением. Как шли эти занятия, мы опять-таки не знаем и можем судить о них лишь по их результатам. Впоследствии, выступая в роли проповедника, Аввакум обнаруживал весьма значительную для своего времени начитанность. Ему были хорошо знакомы не только все книги св. Писания, переведенные на славянский язык, не только циркулировавшие в России творения отцов церкви, но и многие апокрифические сказания. Равным образом хорошо знал он и цикл чисто русских сказаний и повестей, как повесть о белом клобуке, сказание о трех Римах и т.д. Можно сказать, что ему была известна почти вся тогдашняя литература, доступная для русского грамотного человека. В ее произведениях, сплошь проникнутых религиозными и националистическими идеями, полных смиренного отречения от земных благ и горячего мистического увлечения, живо рисовавших борьбу веры с соблазнами мира, юный читатель почерпал

теоретические обобщения знакомых ему фактов жизни, находил указания для своей деятельности, и постепенно из него складывался исповедник сурового нравственного ригоризма, соединенного с монашеским аскетизмом, с презрением к миру и его слабостям. Мысль о подвижнической жизни, направленной к спасению от греха, стала преобладающей в душе юноши, но, полный молодых сил, он готовился не к бегству от мира, а к деятельной борьбе с его соблазнами.

Между тем годы юности проходили, и мать Аввакума, тем временем овдовевшая, задумала женить сына. Покорный воле матери, юноша только молился Богородице, чтобы она дала ему жезу «помощницу ко спасению». Выбор матери пал на одну сироту из того же села, привлекавшую к себе ее внимание своею набожностью и частым посещением церкви. Со своей стороны Анастасия — так звали девушку — давно уже втайне любила Аввакума, и счастье его семейной жизни было таким образом обеспечено. В жене он нашел себе действительную помощницу, женщину, усвоившую себе его мировоззрение и связанную с ним узами горячей привязанности, которая помогала ей переносить безропотно все невзгоды, постигавшие их в жизни. Эти невзгоды должны были начаться уже очень скоро.

Мать Аввакума умерла вскоре после брака сына, а сам он вступил на ту дорогу, которую указывало ему и происхождение, и — в гораздо большей степени — собственное его настроение. Переселившись из родного села, где, по-видимому, односельчане недолюбливали его, в село Лопатицы (ныне Макарьевского уезда), он, двадцати одного года от роду, был поставлен в дьяконы, а через два года — и в священники. Перед ним открывалась теперь возможность деятельности в качестве признанного учителя народа, и он с жаром схватился за нее. В нем самом не было к тому же распространенных в среде тогдашнего русского духовенства недостатков, которые могли бы уронить в глазах массы его учительский авторитет. Строго относясь к себе, Аввакум с беспощадною суровостью карал свою плоть за всякое проявление слабости, за малейшее отступление от требований духа.

Случилось раз, что пришла к нему на исповедь «девица, многими грехами обременена», и с плачем каялась в своих прегрешениях. Красота ее тронула сердце молодого исповедника, и он с ужасом почувствовал, что он, «треокаянный врач, сам разболелся», что греховное желание охватило его. Тогда он зажег три свечки и, прилепив их к аналою, положил правую руку на пламя и держал, пока взбунтовавшаяся плоть не усмирилась. Отпустив затем девушку, пошел он домой и там с горькими слезами долго молился Богу, чтобы позволено было ему снять с себя принятое звание, «понеже бремя тяжело, неудобь носимо». Только видение, посетившее его, когда он, истомленный, забылся сном, лежа перед образом, успокоило его.

При таком понимании своей обязанности он являлся настоящим учителем, словом и делом проповедующим свои взгляды и не отступающим от преподаваемого учения. Строго выполнял он свое призвание, как понимал его, с неослабной ревностью наставлял и поучал своих духовных детей, с мелочной, буквальной точностью исправлял все обряды церковнослужения. В то время многие священники усвоили обычай многогласия в служении: чтобы сократить церковную службу и в то же время ничего не выпустить из нее, ее совершали в несколько голосов, так что дьячок читал кафизмы в то самое время, как дьякон провозглашал ектению, а священник делал возгласы, и все это вместе с пением хора сливалось в неясный шум, совершенно непонятный для молящихся. Аввакум не последовал этому обычаю и совершал службу медленно, по уставу. Но церковным служением не ограничивал он круга своей деятельности. С теми же требованиями чистой, нравственной жизни, какие он предъявлял к самому себе, он обращался и к другим, и прежде всего к своим прихожанам.

Среди последних его деятельность вызывала неодинаковое отношение. Одни готовы были видеть в молодом священнике настоящего пастыря и приписывали ему всю ту силу, какая соединялась тогда с этим понятием: к нему приводили бесноватых, прося исцелить их, и он держал их в своем доме, леча молитвой и освященным маслом.

«И сила Божия, — прибавляет Аввакум, рассказывая об этом, — отгоняше от человек бесы и здрави бываху». Но людей, которые подчинились сразу духовному авторитету священника, было меньшинство. Большинство же возмущалось теми суровыми требованиями, какие ставил Аввакум, и не прочь было протестовать против них. Такой протест еще облегчался тем обстоятельством, что Аввакум, преследуя цели внесения благочиния в духовную жизнь своей паствы, не останавливался ни перед чем и не способен был жертвовать тем, что считал истинной, случайным обстоятельствам и отдельным людям.

Какой-то «начальник» отнял раз дочь у вдовы; Аввакум вступился и начал увещевать его возвратить девушку матери. Начальник, вознегодовав на такое вмешательство в его дела, возмутил против Аввакума прихожан, толпа которых напала после этого на своего священника у церкви и избила почти до смерти, так что он едва пришел в себя. Но и это не утишило его ревности и он продолжал свои настояния, пока начальник не отдал девушки. Впрочем, через несколько времени последний, должно быть, раскаялся в этом: придя в церковь, он сам уже избил Аввакума и в ризах волочил его за ноги по земле.

Неспособность подчинять свои взгляды желаниям прихожан причиняла Аввакуму хлопоты и в другом вопросе. Прихожане требовали, чтобы он служил в церкви скорее, а он не считал себя вправе исполнить это, и новые столкновения между священником и приходом не заставили себя ждать. Начальник, на этот раз уже другой, рассерженный неуступчивостью Аввакума, прибежал к нему на дом, бил его и руку изгрыз зубами, потом покушался даже застрелить его. Пока дело ограничивалось побоями и бранью, стойкий священник, уверенный в правоте своего подвига, отвечал на них благословениями и полным достоинства смирением. Но вскоре эти гонения приняли и более серьезный для него оборот: видя, что Аввакума нельзя заставить подчиниться, начальник, его избивший, прибег к более радикальным мерам. Он отнял у него двор и все имущество и выгнал из села, не дав даже хлеба на дорогу. Как раз перед тем у Аввакума родился сын, и теперь он с женой и некрещеным младен-

цем побрел в Москву — искать защиты у мирских властей, так как иначе для него закрывалась возможность продолжать только что начатую деятельность.

По некоторым известиям, Аввакуму и раньше уже приходилось бывать в Москве по делам, так как приход его принадлежал к патриаршему округу, и во время этих посещений столицы он успел познакомиться и сблизиться с двумя людьми, занимавшими видное положение среди московского духовенства, царским духовником Стефаном Вонифатьевым и протопопом Казанского собора Иваном Нероновым. Во всяком случае, состоялось ли это знакомство ранее или только теперь, эти два лица приняли участие в выгнанном из своего прихода священнике. Они познакомили его с царем Алексеем Михайловичем и выхлопотали для него царскую грамоту, утверждавшую его в сане приходского священника в Лопатицах. С этою грамотою отправился он обратно и водворился в своем приходе, получив возможность продолжать свою деятельность с большею уверенностью, чем прежде. Скоро представился ему и случай обнаружить свое рвение к установлению благочестия и свой непреклонный ригоризм еще с новой стороны.

Зашли как-то в Лопатицы вожаки медведей со скоморохами. Аввакум горячо восстал против этого развлечения, не соответствующего его аскетическому идеалу христианской жизни, и, не довольствуясь увещаниями, «по Христе ревнуя», попросту выгнал из села медвежатников и скоморохов, изломал их шутовские маски, бубны и домры, отнял медведей и пустил их в поле. В это время плыл мимо Лопатиц по Волге боярин В.П.Шереметев, направляясь в Казань на воеводство. Огорченные жители пожаловались на самодурство своего священника боярину, и последний призвал его к себе на судно. Долго и много бранил Аввакума Шереметев и под конец беседы, проникшись ли уважением к стойкости священника или просто по обычаю, просил благословить сына своего. Но последнего коснулись уже новшества, проникшие в русскую землю: он был обрит, и Аввакум, увидав такой «блудолюбивый образ», не только отказался благословить его, но еще и «от Писания его порицал», так что вспы-

ливший Шереметев приказал было бросить его в Волгу. В реку священника, правда, не бросили, но проводили с судна побоями.

Наконец строгие требования Аввакума в связи с его деспотическими замашками сделали совершенно невозможными мир и согласие между ним и его прихожанами. Последние решительно восстали против своего пастыря и заставили его удалиться из прихода. Опять отправился Аввакум в Москву и на этот раз, по ходатайству друзей, был назначен протопопом в Юрьевец-Повольский. Но недолго пришлось ему прожить и на новом месте. Его строгие правила, суровые обличения, стремление всех подчинить своей воле во имя идеала правоверной жизни восстановили против него не только мирян, но и духовенство, над которым он был непосредственным начальником и которое поэтому более всех могло испытывать на себе тяжесть его власти. Уже через восемь недель в городе вспыхнуло целое возмущение против протопопа: до полутора тысяч человек, мужчины с батогами, бабы с рычагами, собралось к патриаршему приказу, где Аввакум занят был духовными делами. Сурового протопопа вытащили на улицу, били, чем попало, до того, что он потерял сознание, и убили бы на месте, если бы не прибежал на выручку воевода с пушкарями. Едва на лошади умчали Аввакума от разъяренной толпы в его двор, и к последнему пришлось поставить стражу из пушкарей же, чтобы охранить протопопа от покушений на его жизнь. Два дня лежал он, оправляясь от последствий тяжких побоев, и все это время в городе царило смятение: народ, подущаемый попами, волновался и на улицах раздавались бешеные крики: «убить его, да и тело собакам в ров кинуть». На третий день ночью Аввакум тайно бежал из Юрьевца, оставив там жену и детей, и направился в Москву. По дороге зашел он в Кострому, где рассчитывал найти своего знакомого и приятеля, протопопа Даниила, но, придя туда, узнал, что и Даниила постигла такая же участь, как его: за несколько времени перед тем его также изгнали прихожане и он бежал в Москву. Аввакуму оставалось только продолжать свой путь туда же. Прибыв в столицу, он явился к царскому духовнику,

но как этот последний, так и сам царь остались сперва недовольны бегством его из Юрьевца. Вскоре однако недовольствие это сгладилось и забылось; Аввакум остался в Москве и еще теснее сошелся со здешними своими приятелями.

Только что рассказанные события происходили в 1651 году. Со времени поставления в священники восемь лет провел Аввакум в попытках осуществления своих взглядов и идеалов на практике во всей их полноте и цельности. Восемь лет прошло в упорной борьбе проповедника благочестия и аскетической морали, сурового ригориста, стремившегося переделать мир по-своему, с окружающими, — борьбе, не принесшей ему, по-видимому, никаких результатов, кроме ряда поражений. Но это не пугало и не изменяло его: он смотрел на такую борьбу, как на неизбежный подвиг, и она только закаляла его характер, сообщая ему новые силы и энергию. Между тем с окончательным переездом в Москву течение жизни Аввакума повернуло в иное, более глубокое русло: и окружившая здесь Аввакума духовная атмосфера, и личная его деятельность были уже не совсем те, что прежде.

Столичные деятели Аввакума составляли видный и влиятельный среди московского духовенства кружок, группировавшийся около двух знакомых уже нам лиц — Стефана Вонифатьева и Ивана Неронова. Духовник «тишайшего и благовернейшего» царя Алексея Михайловича, Вонифатьев славился своим благочестием и ревностью по вере и был известен, как человек строгой жизни. Сурово смотрел он на распушенность многих мирян, которая часто поражала и духовных лиц, склонен был видеть причину таких явлений в новшествах, в отступлении от старины и, будучи большим знатоком церковного устава, от всех, в том числе и от самого царя, у которого он пользовался немалым расположением, требовал неуклонного соблюдения обрядового благочестия. Его друг, протопоп Неронов, был человеком такого же закала: такой же знаток и ревнитель церковной обрядности, такой же горячий проповедник нравственной жизни и строгого благочестия, он пользовался среди окружавших его лиц весьма значительным авторитетом. Не даром его духовные

дети называли его «вышестественным, равноапостольным, по церкви Христове крепким поборником».

Оба друга были, по московским понятиям, людьми образованными: им хорошо знакома была современная им русская литература, конечно, церковная, и сами они не чуждались литературных занятий. В церковной жизни своего времени они замечали непорядки и неустройства и подумывали об их исправлении. Но при этом основную причину всякого рода непорядков они склонны были усматривать исключительно в уклонениях от обрядовой старины, не будучи в состоянии возвыситься до более широких обобщений. Самую старину, ими отстаиваемую, они находили лишь на русской почве; перейти на какую-либо другую им не позволяло и ограниченное сравнительно образование, и узость их идейного кругозора, замкнутого в пределах так распространенных в то время мыслей об исключительном правоверии московского государства. Словом, по своим взглядам и симпатиям они примыкали к недавно еще безраздельно господствовавшей церковно-националистической партии, составляя в то же время цвет ее по своим умственным способностям и нравственным силам. Это последнее обстоятельство и помогло им собрать около себя целый кружок лиц, разделявших их воззрения и готовых действовать в духе проповедуемых ими идей. Тут были и костромской протопоп Даниил, и муромский протопоп Лонгин, и ученый диакон московского Благовещенского собора Федор, и попы романовский Лазарь и суздальский Никита. Среди этих лиц, в большинстве выходцев из провинции, по преимуществу же из Нижегородской области, не было людей, которые могли бы похвалиться сколько-нибудь глубоким образованием, но все они были исполнены фанатической ревностью к вере. Связанные между собою убеждением, что истинная вера сохранилась только в московской Руси, они смотрели на Вонифатьева и Неронова, особенно же на последнего, как на своих руководителей и наставников, призванных соблюсти чистоту русской церкви и укрепить ее правоверие путем возвращения к древней обрядовой строгости.

Влияние Вонифатьева и Неронова распространялось однако не только на круги одинакового по положению с

ними духовенства и их паствы, оно шло и дальше, равно проникая в высшую светскую и духовную иерархию. Царь Алексей Михайлович, высоко ставивший в людях набожность и благочестие, лично знал главнейших членов кружка Неронова и ценил эти их достоинства. Благодаря этому и патриарх Иосиф, хотя и не вполне охотно, все же в известной мере считался с их авторитетом и даже вынужден был в значительной степени следовать их указаниям в церковных делах. Таким образом в то время, когда Аввакум из Юрьевца явился в Москву, кружок протопопов пользовался здесь сильным влиянием, основывая его как на личном расположении к главным своим представителям со стороны царя, так и на своем умственном и нравственном превосходстве над остальным духовенством. Дружбы этого кружка заискивали даже очень сильные люди. Сам митрополит новгородский Никон, в котором уже тогда прозревали будущего патриарха, дружил с протопопами и разделял их взгляды. Подобно им, он считал в ту пору московскую Русь хранилищем истинного благочестия и заподозривал правоверие греческого Востока: «гречане, — говаривал он в дружеских беседах с московскими протопопами, — потеряли веру, и крепости и добрых нравов нет у них, своим чревам работают и постоянства в них не объявилось и благочестия нимало». Подобно другим членам кружка, и он мечтал тогда лишь о таких частных исправлениях церковных неурядиц, которые не сходили бы с почвы русской старины.

К этому-то тесно сплоченному кружку примкнул и Аввакум, явившись из Юрьевца. С членами его он ранее был уже знаком и находился в тесных приятельских отношениях; и его связывали с ними общность взглядов и убеждений, один и тот же умственный кругозор, но помимо того у него установилась с Нероновым и Вонифатьевым еще и такая глубокая дружба, какой не было у этих лиц с Никоном. В свою очередь, Аввакум внес в кружок присущую ему самому страстность и энергию, готовность к решительным мерам и действиям. На первых порах, впрочем, он заслонялся личностью Неронова, фактического главы кружка, и даже занял положение

как бы помощника его. Не имея собственного прихода и продолжая номинально считаться юрьевецким протопопом, он постоянно находился при Казанском соборе, заменял Неронова в церковнослужении во время его отлучек, читал народу священные книги и поучения. Такого рода деятельность настолько его удовлетворяла, что он не хотел променять ее на место, хотя бы более видное и почетное, но дававшее меньше случаев общения с народом, и не польстился даже на место в дворцовой церкви Спаса за Золотой Решеткой, которое ему предлагали. С дворцом, впрочем, у него тоже были тесные отношения: сам царь часто беседовал с ним и душевно привязался к протопопу, привлекая его своим строгим подвижничеством, огненными речами и богатым запасом сердечной нежности, скрывавшейся под суровой оболочкой аскета. Много лет позднее, находясь совсем в другой обстановке, Аввакум с умилением вспоминал, как благодущный царь, надевая духовных лиц яйцами на Пасхе, не забывал и про его малолетнего сына. И наверху, в тереме царицы, знали Аввакума и заслушивались его поучений; к тому же, по его просьбе, Вонифатьев устроил двух его братьев на службе у одной из царевен, а одного, Герасима, поместил священником при себе в дворцовой церкви. Собственную семью протопоп также перевез со временем в Москву и окончательно устроился здесь своим домом.

Дом этот и в Москве носил тот же характер, что прежде в Лопатицах. Личная жизнь Аввакума и теперь оставалась тем же непрерывным молитвенным подвигом, слабое понятие о котором может дать следующий пример. Ежедневно, после вечерни, поужинав и собираясь отходить ко сну, протопоп совершал «правило», состоявшее из целого ряда молитв, сопровождаемых земными поклонами. Окончив это правило и потушив огонь, он вновь становился на молитву и уже впотьмах совершал «300 поклонов, 600 молитв Исусовых, да 100 Богородице»; жена его, молясь с ним вместе, полагала 200 поклонов и произносила 400 молитв.

Строгий образ жизни, резкие поучения и в Москве создали Аввакуму репутацию священника строгой нравственности, и в результате к нему стали приводить на

исцеление так называемых бесноватых, — название, под которым обобщалось много различных болезней, начиная с острых расстройств нервной системы и кончая сумасшествием. Иногда по несколько этих несчастных одновременно жило в доме протопопа, который лечил их молитвой и святой водой, а в экстренных случаях и «смирлял» побоями. Но все эти занятия далеко не поглощали теперь всецело его времени и вскоре отступили даже на задний план перед более важными.

Время переселения Аввакума в Москву как раз совпало с началом серьезного выступления Неронова и его приятелей на почве исправления церковной жизни. Собственно, уже самая рассылка некоторых членов кружка на протопопии в провинциальные города была своего рода попыткой пропаганды взглядов кружка, но эта попытка не имела большого успеха. Ее неудача не ослабила однако же энергии кружка и не подорвала его деятельности в самой Москве. Напротив, она, по-видимому, лишь усилила его рвение к исправлению церковных неустойчивостей и, в частности, чина церковной службы. Особенно резко выступал в этом случае Неронов: он не только сам служил единогласно, но и других всячески увещевал к тому же. Деятельную поддержку нашел он у Никона, который у себя в Новгороде завел единогласное служение и партесное пение и, приезжая в Москву со своими выписанными из Киева певчими, служил в присутствии царя именно так, как этого требовали протопопы. За то против последних восстало низшее московское духовенство, которое увидало в единогласии новшество, нарушающее древний чин службы, а следовательно, посягающее и на правоверие. Такое отождествление обряда с верой ярко выступило в страстных жалобах московских попов на Неронова. Один из наиболее ревностных защитников многогласия, не успев в своих доводах в его пользу, предлагал для решения спора бросить жребий с Нероновым: «и буде его вера права, и он и все учнут петь и говорить», как того требует Неронов. Не менее резкие нападки вызывал и вводившийся Нероновым с товарищами обычай говорить проповеди в церкви. «Заводите вы, ханжи, — говорили попы, — ересь новую — единоглас-

ное пение и людей в церкви учите, а мы людей преждего в церкви не учили, а учивали их втайне». Сам патриарх Иосиф, по-видимому, впрочем, не столько по убеждению, сколько в силу личных отношений, был против действий протопопов, и лишь дружным усилием последних, поддержанных новгородским митрополитом и царем, удалось одержать победу в этом вопросе. В данном случае Неронов и его товарищи выступили, таким образом, на путь восстановления обрядовой чистоты церковнослужения, устраняя вошедшие в него с течением времени искажения. Но на этом пути они скоро встретились с людьми, заставившими их занять совершенно иную позицию.

Еще в 1649 году боярин Ртищев пригласил в устроенный им в Москве Андреевский монастырь несколько ученых иноков из Киева, во главе которых стоял Епифаний Славинецкий, «в философии и богословии изящный дидаскаль и искуснейший в еллиногреческом и славенском диалектах». Приехавши в Москву, киевские монахи немедленно открыли здесь школу при Андреевском монастыре, в которую стараниями того же Ртищева собраны были ученики. Уже самое существование этой школы шло в разрез с установившимися московскими преданиями: в ней преподавали «еллинскую мудрость» — греческий язык, латынь, риторику, все науки, неизвестные в Москве, чуждые ее педагогическому обиходу. Перед ними совершенно ступшеывалась и бледнела доморощенная мудрость московских протопопов, еще недавно столь гордых своим авторитетом.

Преподаванием новых наук не ограничилась к тому же деятельность приезжих ученых. Приглядевшись к московским церковным порядкам, они стали указывать в них множество неправильностей и ошибок, объясняя их невежеством великорусского духовенства и противопоставляя ему духовных малорусских и греческих, причем последние равным образом поддерживали их доказательства. Сами киевские старцы, действительно, держались не тех обычаев, что москвичи: крестились они тремя пальцами, многие молитвы читали и пели иначе, русские церковные книги называли исполненными ошибок и во

всем этом ссылались на авторитет церкви греческой и малорусской, из которых последняя для многих москвичей представлялась равносильной польской, на греческие и латинские книги. От приезжих иноков все громче слышались речи об отступлении русской церкви от православных обрядов, от чистой веры, и эти речи заставляли призадумываться всех тех, до чьих ушей они доходили.

Прежде всего, конечно, это влияние новых учителей должно было коснуться тех молодых людей, которые были поручены им в науку и посещали их школу. Действие, произведенное на них взглядами и преподаванием их наставников, было далеко не одинаково. Одни увлеклись новыми знаниями, открывшимися перед ними, и, решительно отвернувшись от доморощенных авторитетов, стали со слов своих преподавателей повторять, что протопопы Вонифатьев и Неронов «враки вракают, слушать у них нечего, учат просто, сами ничего не знают, чему учат». Но так взглянула на дело только часть молодежи. Другие, напротив, говорили, что киевские монахи «старцы недобрые и доброго ученья у них нет»; в учении киевлян эти недовольные видели только опасную ересь, погибель для души: «кто по латыни научился, тот с правого пути совратился», говорили они между собою и тайком извещали протопопов, что только неволя заставляет их учиться у киевских старцев, а на деле они этого ученья знать не хотят.

Таким образом уже с самого начала своей деятельности в Москве малорусские монахи встали в резкий антагонизм с кружком великоименитых протопопов, и обе стороны взглянули друг на друга, как на врагов. Такое отношение двух кружков, из которых каждый думал заботиться о преобразовании церковных порядков в смысле возвращения их к старине, не заключало в себе никакого недоразумения; они совершенно естественно и неизбежно вытекало из различия основных принципов их деятельности. Все дело было в том, что в этих кружках речь шла о совершенно различной старине. Тогда как ученые малороссы ставили идеалом старину вселенскую и с нею сравнивали современную московскую действительность, протопопы говорили о старине московской, кото-

рую они отождествляли со вселенской, находя ее к тому же, от отсутствия больших исторических сведений, в очень недалеком прошлом, а современную им практику всех других православных церквей заподозривали в еретичестве. Из этого основного различия в понимании цели вытекало далее и различие средств. Малороссы считали неизбежным ознакомление с западной наукой; московские протопопы отвергались от нее с отвращением и искали опоры в одной вере; одни убеждали в необходимости исторического изучения запутавшихся вопросов церковной обрядности и привлечения для их решения опыта вселенской православной церкви, другие считали возможным довольствоваться своими личными воспоминаниями и своей домашней литературой, отрицая опыт иных церквей, как неправовверных, и противопоставляя их практике свою. При таком различии взглядов и положений враждебные отношения между двумя кружками были неминуемы. Широкая программа очищения обрядов русской церкви, выставленная киевскими учеными, заставила кружок Вонифатьева и Неронова принять оборонительное положение, и в ответ на упреки в невежестве слышались обвинения в ереси. Среди московского духовенства поднимался все более резкий ропот против новшеств, вводимых приезжими «хохлами». Обе стороны готовились помериться силами и ждали начала борьбы.

Пока жив был слабый патриарх Иосиф, Неронов и Вонифатьев с товарищами чувствовали силу на своей стороне. Но 15 апреля 1652 года Иосиф умер. В сущности, вопроса о личности нового кандидата на патриарший престол не могло и возникнуть, так как он всецело разрешался всем известною любовью царя к Никону. Тем не менее кружок Неронова сделал, кажется, попытку выставить кандидатуру человека, которого он мог бы с полною и безусловною уверенностью считать своим, именно протопопа Стефана Вонифатьева. Правда, рассказ Аввакума, от которого мы только и имеем сведения об этой попытке, несколько спутан: в одном месте он говорит, что Неронов с приятелями, в том числе и сам он, вместе с казанским митрополитом Корнилием, подали царю челобитную с просьбой назначить патриархом Во-

нифатьева, но последний сам отказался от этой чести и указал на Никона; в другом месте Аввакум рассказывает, что протопопы, и сам он в числе их, прямо просили о назначении патриархом Никона и были непосредственными виновниками этого назначения. Трудно сказать, которая из этих двух версий справедливее, но общий смысл их обеих соответствует действительно положению вещей, если только принять некоторые необходимые ограничения.

Протопопы не были прямыми виновниками возведения Никона в сан патриарха, так как намерения Алексея Михайловича на этот счет уже вполне сложились без их участия, но, зная эти намерения, они, в полном ли своем составе или в лице Вонифатьева, могли и со своей стороны указать на Никона, рассчитывая таким способом действий обеспечить себе благодарность со стороны будущей главы русской церкви. Тем легче могли они это сделать, что Никон, хотя и не связанный с ними тесными узами личной дружбы, был для них все-таки в известной мере своим человеком, теми же глазами, как и они, смотревшим на русскую церковную жизнь, мечтавшим об исправлениях ее в том же духе и направлении. Поэтому протопопы и их друзья могли рассчитывать и в патриаршество Никона удержать ту власть и влияние в церковных делах, какими они пользовались раньше. Если патриарх Иосиф подчинялся им, то от Никона они могла ждать, что он будет действовать совместно с ними во имя общей их цели и, идя по одной с ними дороге, не захочет лишить себя их поддержки.

Но на деле эти ожидания не оправдались. Крутой, самодовольный и самовластный Никон менее всего способен был кому-либо подчиняться. Сознывая за собою сильную поддержку царя, он мечтал сам начать и вести дело церковных исправлений. К тому же в нем зародилось и сомнение на счет справедливости тех взглядов, которые он еще недавно разделял с московскими протопопами. Беседы с приезжавшими в Москву греческими иерархами и собственное знакомство с русскими церковными древностями убедили его, что некоторые московские обычаи само представляют новшество в церковной жизни,

противное и русской старине, и современной вселенской практике, а отсюда невольно уже появлялось сомнение, действительно ли эта последняя заражена такими ересями, как это думали на Руси, и не представляет ли она скорее источника, к которому следует обратиться ради восстановления истинного правоверия. Для непосредственной и страстной природы Никона этого сомнения оказалось достаточно, чтобы решительно толкнуть его на другой путь.

Сделавшись патриархом, он уже не с полным доверием смотрел на деятельность лиц, окружавших Неронова и Вонифатьева. Он стал прислушиваться и к другим голосам, раздававшимся из кружка малороссов, ближе сошелся с Елифанием Славинецким и скоро окончательно перешел на сторону киевских ученых, решив привлечь к делу церковного исправления опыт иных церквей. С этой минуты в его руках самое дело исправления церковных обрядов приблизилось к их реформе. Это изменение программы повлекло за собою и соответственное изменение способа действий патриарха: начатое при Иосифе дело исправления церковных книг было поставлено на новых основаниях, иосифовские справщики книг, набранные из русского духовенства, были удалены от должности, а на их место назначен начальником печатного двора Славинецкий, вокруг которого собрана была комиссия из ученых киевских монахов.

В таких действиях патриарха протопопы должны были увидеть личную измену прежнего приятеля, но вместе с тем эта измена приобретала для них особенное значение, благодаря той почве, на которой она совершилась. Патриарх предпочел чуждую науку русскому правоверию, сошелся с еретиками, которых сам прежде хулил; очевидно, он готовится внести ересь в русскую церковь. Такое впечатление породили действия Никона в его бывших приятелях и единомышленниках, и они с враждебной подозрительностью смотрели на патриарха, готовясь увидеть в его дальнейших распоряжениях признаки еретической новизны. Ожидания и не замедлили оправдаться.

Великим постом 1653 года Никон разослал по церквам указ не творить земных поклонов в четыредесятницу, ис-

ключая лишь четырех больших при чтении молитвы Ефрема Сирина, и креститься тремя перстами, а не двумя. Для подозрительно и враждебно настроенного кружка Неронова этот указ явился началом ожидавшейся «еретической зимы». «Мы задумались, сошедшеся между собою, — рассказывал впоследствии Аввакум, — видим, яко зима хочет быти: сердце озябло и ноги задрожали. Неронов мне приказал церковь, а сам един сокрылся в Чудове, — седмицу в палатке молился. И там ему от образа глас бысть во время молится: время приспе страдания! Подобаает вам неослабно страдати!» Сильный ропот поднялся среди всего кружка Неронова. Аввакум и Даниил задумали выступить с протестом и, составив «выписку» о поклонах и о крестовом знаменнии, подали ее Алексею Михайловичу. Этот шаг не имел последствий, но и протопопы решили не подчиняться распоряжениям патриарха и не стесняясь, громко осуждали их. Между двумя партиями завязывалась решительная борьба, и как характеры лиц, принявших в ней участие, так и глубокое различие борющихся сторон должны были сделать ее упорной и ожесточенной.

Никон был не таким человеком, чтобы оставить без ответа брошенный ему вызов на борьбу и смиренно проглотить оскорбление. Решив показать противникам свою власть, он выжидал для этого только удобного случая, который скоро ему и представился. В июне того же года пришел от муромского воеводы донос на тамошнего протопопа Лонгина, будто он хулит иконы и лик Спасов. Обвинение было вздорное, но оно пригодились Никону, и он, распорядившись отдать Лонгина за «жестокого пристава», созвал для суда над ним собор из низших духовных властей — архимандритов, игуменов и протопопов. На этом соборе разразилось уже открытое столкновение между патриархом и Нероновым с товарищами. Последние горячо вступились за Лонгина, доказывая, что Никон не имел права подвергать его такому тяжелому наказанию, особенно до полного расследования дела. Всех ревностнее выступил на защиту муромского протопопа сам Неронов, который попутно подверг резкой критике все действия патриарха.

«Прежде всего, — говорил он Никону, — ты имел совет с протопопом Стефаном (Вонифатьевым), и на дом ты к протопопу Стефану часто приезжал, и о всяком деле советовал, когда ты был в игуменах, в архимандритах и в митрополитах, и которые боголюбцы посланы государем блаженные памяти к патриарху Иосифу, чтобы ему поставили по его государеву совету овых в митрополиты и в архиепископы и епископы, иных в архимандриты, игумены и протопопы, а с государевым духовником Стефаном ты тогда был в советех, и не прекословил нигде, и на поставлении их не говорил: анаксиос, а ныне у тебя те же люди недостойны стали, и протопоп Стефан за что тебе враг стал? Везде ты его поносишь и укоряешь, а друзей его разоряешь, протопопов и попов с женами и детьми разлучаешь: доселе ты друг нам был, а ныне на нас восстал».

По словам раздраженного протопопа, Никон всему верил, в чем бы ни обвиняли их друзей, повторяя: «так-де они делают, такие-де нечестивые, а Стефан-де протопоп и Иоанн им вора́м потакают»... При всем преобладании в этой критике личных мотивов, за ними слышался и более общий протест, направленный не против каких-либо отдельных действий Никона, а против всей принятой им системы, против замены благоверных московских людей «иностранными иноками, ересей вводителеми», и такой протест не мог быть удовлетворен частичными уступками.

Но Никон в свою очередь и не думал об уступках. Раз решив смирить непокорных силою своей власти, он уже не отступал от избранного плана и, по мере того как протест разгорался и в нем принимали участие новые лица, на их головы обрушивались жестокие кары, направляемые рукой патриарха. Неронов первый поплатился за свою смелость: сперва он лишен был скуфьи и заточен в Симонов монастырь, а затем 4 августа 1653 года, отправлен в Вологду, в Спасокаменный монастырь. Его приверженцы решились попытать еще средство отстоять своего вождя и вместе спасти от гибели свое дело и с этою целью подали царю челобитную о возвращении Неронова из ссылки, написанную протопопом Аввакумом.

Последний в этот момент вообще выдвигается вперед и даже пытается после удаления Неронова руководить деятельностью всего кружка: его пламенная энергия, горячее убеждение в правоте защищаемого дела и способность умелой пропаганды вместе с готовностью идти до последней крайности в значительной степени оправдывали такие притязания, выделяя его из среды товарищей по кружку.

Далеко не все члены кружка и сторонники Неронова склонны были, однако, признать Аввакума своим вождем. В глазах некоторых из них начало гонения на кружок протопопов явилось преддверием предсказанного в Кирилловой книге отпадения русской церкви от православия, но у других еще преобладало примирительное настроение и нежелание доходить до безусловного разрыва с главой русской церкви, к чему явно вел протопоп. Попы Казанского собора, где он заменил было Неронова, решительно отказались признать его главенство, будучи особенно недовольны тем, что он в своих поучениях народу «много лишнего говорил», крайне резко нападая на распоряжения церковных властей, и предложили ему служить в соборе по очереди, на правах товарищества. Напрасно Аввакум ссылаясь на свой сан протопопа и на то, что ему Неронов, уезжая, поручил церковь; попы отвечали, что протопоп он в Юрьевце, а не в Москве, что же касается Неронова, то он им ничего не говорил насчет подчинения Аввакуму. Тогда последний, раздраженный и оскорбленный, удалился из собора, отказавшись от всяких сношений с его священниками, и отправился в дом Неронова. Там решил он отбывать церковные службы, и сторонники его убеждали народ собираться к нему, замечая по адресу казанских попов, что «в иную пору и конюшня лучше церкви бывает».

Но положение главы протестующего кружка, принятое на себя Аввакумом среди начавшейся борьбы, навлекло на него неизбежную месть со стороны патриарха, которого извещали обо всех его действиях. 13-го августа, в субботу, когда Аввакум собрался «с братиею о Господе побдети» в сушиле в Нероновском доме, служба была прервана появлением патриаршего боярина Бориса Нелединского со стрельцами. Протопопа арестовали и от-

везли на патриарший двор, где его приковали на цепь и так продержали до утра. Утром, все с цепью на шее, его посадили в телегу, отвезли в Андроньев монастырь и там посадили на цепь в темном погребе. Три дня и три ночи держали здесь протопопа, не давая ему ни пищи, ни воды; только на третий день нашелся какой-то добрый человек, который тайно принес Аввакуму щей и хлеба, и в воображении узника он представлялся не то человеком, не то ангелом. На четвертый день вывели Аввакума из погреба, и архимандрит с братиею стали уговаривать его подчиниться патриарху, но не имели успеха.

Перенесенные истязания, не сломив протопопа, лишь утвердили его в мысли, что он страдает за правую веру. «Журят мне, — рассказывает сам он, — что патриарху не покорился, а я от писания его браню да лаю». Видя безуспешность первых своих попыток, монастырские власти отдали протопопа под начало, осудив его тем на целый ряд физических и нравственных мучений. «У церкви за волосы дерут, — вспоминал впоследствии Аввакум — и под бока толкают, и за чепь торгают, и в глаза плюют». Четыре недели провел Аввакум в таком искусе, и невеселые вести доходили до него за это время через монастырские стены. Слышал он, что и другие члены недавно еще столь сильного кружка подверглись гонению, что протопоп костромской Даниил сослан в Астрахань, протопоп темниковский Даниил заточен в Новоспасский монастырь, Лонгин расстрижен, но были вести и еще безотраднее. Не все единомышленники Аввакума в одинаковой степени обладали твердостью духа, необходимой для того, чтобы бестрепетно выдержать гонение, и в монастырь, где под строгим началом содержался узник, дошел слух, что самый видный после Неронова и наиболее влиятельный по близости своей к царю приятель его, протопоп Вонифатьев, «ослабел», не стоит уже так сильно за правую веру, не ратует против Никона. Но как истязания и надругательства, к которым Аввакум привык еще в первые годы своей деятельности, так и общее гонение на единомышленников и отступничество некоторых из них, смущая и опечаливая его дух, не могли все же отвлечь его от того, что он считал своим подвигом. В нем и теперь

сказалась та же твердая воля аскета, неспособная отступить перед мучениями, какую он обнаруживал и раньше, только теперь изменилось его отношение к мучителям, и уже не благословениями отвечал он на истязания; убежденный в том, что он защищает православную веру от готовой поглотить ее ереси, он не жалел резких обличений, проклятий и брани по адресу еретиков — патриарха Никона и его помощников.

Прошло четыре недели, и снова повезли Аввакума, прикованного к телеге, на патриарший двор для увещания. Но эта новая попытка склонить его к покорности окончилась новой неудачей, и Никон, увидев, что ему не удастся сломить дух юрьевецкого протопопа, решился применить к нему крайние меры, бывшие в его распоряжении, — лишение сана и ссылку. 15 сентября 1653 года Аввакума привезли из Андроньева монастыря в Успенский собор и собирались уже приступить к обряду расстрижения его, когда за него вступился сам царь. Алексей Михайлович вполне вверился Никону в церковных делах и отстранял все протесты против него, но не мог еще всецело отказаться и от прежних своих симпатий. С Аввакумом его, сверх того, соединяла личная привязанность, к стойкому протопопу расположена была и царица Марья Ильинична, вообще склонная к старине, наконец, за него мог ходатайствовать и друг его Вонифатьев, еще сохранивший отчасти свое влияние на царя. Поэтому-то, когда Аввакума готовились уже расстригать, Алексей Михайлович сошел со своего царского места и, подойдя к патриарху, стал упрашивать его избавить мятежного протопопа от этого унижения. Уговоры царя подействовали на Никона, расстрижение Аввакума было отменено и по отношению к нему ограничились одной ссылкой в Сибирь. Его отвели из собора в Сибирский приказ и через несколько дней вместе с семьей отправили в Тобольск.

Так закончился второй период жизни Аввакума, тот краткий период, когда он, живя в Москве, пользовался сравнительным спокойствием, благодаря тому, что окружавшая его обстановка находилась в полной гармонии с его настроением и взглядами. После непродолжитель-

ного отдыха для него опять наступала пора борьбы и страданий. Но теперь и эта борьба, и эти страдания получали в сознании самого Аввакума и значительной части современного ему общества новое значение. Если раньше он боролся против слабостей и грехов мира, искореняя их во имя идеалов высшей духовной жизни, если тогда он мог стоять на почве для всех равно обязательной морали родной старины и только временами случайно сталкивался с отголосками иных умственных течений, то теперь он стал лицом к лицу с движением, исходившим из начал, противоположных его собственным, и его деятельность, переходя с частной почвы на общую, приобрела значение защиты целого направления, охраны родного правоверия от угрожавших ему чужеземных новшеств.

Присущие Аввакуму личные качества выдвинули его на одно из первых мест в этой борьбе, и в ее зловещем освещении его собственная личность — личность человека, гонимого за убеждения, — выростала до размеров апостола и мученика. Ссылкой в Тобольск для Аввакума, действительно, открылся долголетний подвиг страдания за проповедуемые им идеи, надевший на него мученический венец и поставивший его на одно из первых и самых почетных мест в ряду апостолов раскола.

III

ЖИЗНЬ В ТОБОЛЬСКЕ И ДАУРИИ

Тринадцать недель везли сосланного протопопа с семьей до Тобольска, и немало нужды и лишений пришлось им вытерпеть на этом длинном пути. Между прочим, жена Аввакума в дороге родила ребенка, и ее больную везли дальше в телеге. Но по прибытии на место судьба Аввакума изменилась к лучшему, благодаря сочувствию, встреченному им здесь со стороны епархиального начальства.

Архиепископ тобольский Симеон, сам втайне сочувствовавший тому протесту против новшеств, одним из деятелей которого выступил Аввакум, склонен был видеть в последнем не ссыльного, а неповинного страдальца, притом пользующегося всеми правами священнического сана, с него не сложенного. Такое отношение возвращало протопопу возможность свободной и беспрепятственной деятельности.

Симеон дал ему церковь, и он вновь выступал перед обществом, облеченный авторитетом своего сана, признанного церковной иерархией, выступал с ничем не стесняемой проповедью. Таким положением Аввакум как нельзя лучше и воспользовался для пропаганды своих идей, «браня от писания и укоряя ересь Никонову».

В далекую Сибирь с ним впервые проникала весть о волнениях, происшедших в русской церкви, и в его устах эта весть принимала, конечно, характер предупреждения о появившейся ереси, соединенного с резким ее обличением. Последнее и само по себе могло уже произвести свое действие на общество, строившее свое мировоззрение по преимуществу на религиозных началах, но это действие еще усиливалось, благодаря ореолу подвижничества, окружавшему личность проповедника. И горячая, дышавшая глубоким убеждением проповедь Аввакума, на

самом деле, многих привлекала к нему и вооружала против действий Никона, как направленных к внесению новшеств в русскую церковь и к искажению чистоты ее правоверия.

Деятельность ссыльного протопопа в Тобольске не исчерпывалась, впрочем, одним протестом против патриарших реформ в деле церковных обрядов и сообразно этому происходила не только на почве убеждения и проповеди. Положение, занятое теперь Аввакумом, хотя бы и в силу лишь случайно сложившихся благоприятно для него обстоятельств, давало ему во всяком случае в руки власть, позволявшую проводить в жизнь идеалы положительного характера путем непосредственного воздействия на общество, и не такой человек был Аввакум, чтобы не воспользоваться этой возможностью. Смотри на себя, как на носителя идей, освященных всем авторитетом церкви и потому составляющих непреложные истины, и вместе, как на представителя духовной иерархии, обладающей широкою властью над обществом, он ставил известные требования к окружающим во имя своих нравственных идеалов, вооружаясь для их защиты как духовным авторитетом, так подчас и прямо материальной силой. Защищать же было что, так как на далекой сибирской окраине жизнь значительной части общества еще менее укладывалась в строгие рамки нравственности, чем в центральных областях государства. Аввакум не замедлил повести деятельную борьбу с проявлениями нравственной распущенности общества, и эта борьба скоро познакомила жителей Тобольска с личностью протопопа.

Уехал как-то архиепископ в Москву, и в его отсутствие произошло столкновение между Аввакумом и архиепископом Иваном Струной. Последний за что-то придрался к дьячку Аввакумовой церкви и «мучить напрасно похотел» его, но тот убежал и спасся в церковь. Струна, собрав людей, последовал за ним и туда и, ворвавшись в церковь во время вечерни, схватил стоявшего на клиросе дьячка за бороду. Тогда Аввакум покинул службу, запер церковные двери, так что пришедшие со Струною люди не могли войти в храм, и, принявшись вместе с дьячком за самого Струну, «посадил его среди церкви

на полу и за церковный мятеж постегал его ремнем нарочито-таки» и уже после того, приняв от него покаяние, отпустил его домой. Эта выходка не прошла даром не в меру рьяному протопопу: родственники Струны возмутили против него население города и в ту же ночь пытались вломиться во двор Аввакума, но и после того ему долго еще приходилось прятаться от раздраженных врагов и даже не ночевать дома из опасения нового нападения. «Мучился я, от них бегаючи, — рассказывает сам он, — с месяц тайно: иное в церкви ночую, иное уйду к воеводе. Княгиня меня в сундук посылала, — я-де, батюшка, над тобою сяду, как-де придут тебя искать к нам; и воевода от них, мятежников, боялся, лишь плачет, на меня глядя. Я уже и в тюрьму просился, — ино не пустят». Наконец, возвращение архиепископа избавило Аввакума от гнета постоянного страха. Симеон, найдя протопопа совершенно правым, за его дело и еще за другой проступок приказал посадить Струну на цепь. Дьяк однако ушел от этого наказания и явился к воеводе с доносом на Аввакума, сказав на него «слово и дело государево», а воеводы отдали Струну за пристава сыну боярскому Петру Бекетову. Это вмешательство светской власти вновь изменило положение дела, и тогда архиепископ, подумав с Аввакумом, избрал иной путь для наказания непокорного дьяка и на неделе православия предал его проклятию в церкви.

Такой непреклонный ригоризм, не останавливающийся ни перед какими средствами, равно готовый действовать духовным и материальным оружием, но неспособный на уступки и подчинение, мог вызывать недовольство, резкий протест и насмешки со стороны окружающих, но мог и подчинять их своему влиянию. Даже наиболее грубые средства, пускавшиеся в ход Аввакумом, иногда производили свое действие среди некультурной обстановки.

Пришел к нему однажды пьяный монах, известный всему городу своим буйством, и стал кричать под окном: «Учитель! Дай мне скоро царствие небесное!» Аввакум сперва терпел насмешку, но, видя, что «искуситель» неотступен, позвал его в избу и спросил: «можешь ли пить

чашу, которую я тебе поднесу?» Получив утвердительный ответ, он приказал поставить посреди избы стол, принести топор и сделать толстый канатный шелеп, а сам, взяв книгу, стал читать чернецу отходную. Задумался монах, увидав такие приготовления, но все же, по приказу протопопы, положил голову на стол и тотчас же пономарь нанес ему удар шелепом по шее. Закричал монах от боли, хмель с него соскочил, а бежать от суровой расправы некуда, и стал он просить пощады у протопопы, пав перед ним на колени. Аввакум назначил ему епитимью, велел положить полтораста поклонов перед образом, и в то время, как монах отвешивал поклоны, пономарь сзади угощал его шелепом. «Да уже насилу дышать стал, — рассказывает протопоп, — так его употчивал пономарь. Вижу я, яко довлеет благодати Господни: в сени его пустили отдохнуть и двери не затворили. Бросился он из сеней, да и через забор, да и бегом. Пономарь кричит вслед: отче, отче! Манатью и клобук возьми. Он же отвечает: горите вы и со всем!» Оригинальное средство доставления царства небесного не осталось однако без результата: через месяц монах явился к Аввакуму уже трезвый просить прощения, получил его и с тех пор всегда, встречаясь с протопопом, кланялся еще издали ему в землю, да и своего архимандрита и братию стал почитать так, что даже сами воеводы Тобольска были благодарны Аввакуму за усмирение никому до тех пор не покорявшегося инока.

Суровый протопоп не только в прямой борьбе употреблял однако такие средства, не только на непосредственный протест в виде насилия или вызывающей насмешки отвечал силой, но практиковал последнюю и как средство проповеднической и учительской деятельности. Случилось ему раз застать на грехе мужчину с женщиной и, не добившись покаяния, он свел их в приказ к воеводам. «Те к тому делу милостивы, — с негодованием замечает Аввакум, — смехом делают: мужика, постегав маленько, и отпустил, а ее мне ж под начал и отдал смеючись». Не так милостив оказался сам протопоп. Он посадил присланную к нему женщину в холодное подполье и трое суток держал ее там, в темноте и на морозе,

не давая пищи, пока наконец грешница с криком стала каяться и просить помилования, так что ее вопли мешали протопопу совершать обычное ночное правило. Тогда он велел вывести ее и спросил: хочешь ли вина и пива? «Нет, государь, — дрожа, отвечала женщина — не до вина стало! Дай, пожалуйста, кусочек хлебца». Услышав такой ответ, Аввакум обратился к ней с увещанием: «Разумей, чадо, похотение то блудное пища и питье рождает в человеке, и ума недостаток, и к Богу презорство, и бесстрашие», а затем дал ей четки и приказал класть поклоны. Истомленная трехдневным постом женщина упала среди этих поклонов, и тогда Аввакум велел пономарю бить ее все тем же пресловутым шелепом. «И плачу перед Богом, а мучу», прибавляет он и так заканчивает свое повествование об этом случае: «Начала много дал, да и отпустил. Она и паки за тот же промысел, сосуд сатанин!» Этот неожиданный для протопопа конец нимало не поколебал, впрочем, его веры в спасительность «начала», производимого при помощи шелепа.

Полтора года провел таким образом Аввакум в Тобольске, строго наблюдая за нравственностью и правотоверием своих прихожан, наставляя одних, обличая других, наказывая третьих, словом и делом осуществляя свой идеал подвижнической жизни. Деятельность эта принесла свои плоды: не только в самом Тобольске, но и за пределами его, в окрестных деревнях, носилась молва о благочестивом протопопе. К нему шли люди за поучением и советом в вопросах веры, к нему вели на исцеление бесноватых, и в его доме и теперь, как некогда в Лопатицах, а потом в Москве, постоянно было несколько таких больных, которых он лечил молитвой и постом. Вокруг самого Аввакума собрался кружок людей, решившихся, под влиянием поучений протопопа, отказаться от мира и посвятить себя Богу. Дом протопопа с постоянно совершавшимися в нем молениями, правилами, всенощными бдениями и т.п. представлял из себя образец обрядового благочестия и привлекал всех любителей и ревностных поклонников обрядности, формировавшихся здесь окончательно в ее фанатиков под влиянием примера и проповеди хозяина. В этом кружке ближайших уче-

ников на Аввакума смотрели, как на великого страдальца и непогрешимого учителя, и, видя в нем прямого руководителя к спасению, одного из немногих людей, могущих охранить грешное человечество от бесовских козней, старались беспрекословно выполнять все его требования, трепеща перед его осуждением.

Как силен был такой страх учеников перед ним, может показать следующий пример. Была в числе домочадцев Аввакума девушка Анна, прежде служившая у одного из тобольских жителей, но затем отпущенная хозяином к протопопу, когда поучения последнего зажгли в ней желание остаться девушкой и посвятить себя Богу. Несколько времени она прожила спокойно в доме Аввакума, но затем беспрестанная молитва утомила ее, не давая полного душевного удовлетворения, а между тем она еще раньше любила своего хозяина, и теперь заглушенная было любовь вспыхнула с новой силой. Аввакум сумел подавить этот порыв и удержать девушку, но, когда он уехал из Тобольска, Анна таки не вынесла аскетического подвига и вышла замуж за бывшего своего хозяина. Восемь лет прожила она с мужем, двух детей уже имела, как пронеслась весть, что Аввакум опять будет проезжать через Тобольск. Анна отпросилась у мужа, за месяц до приезда Аввакума постриглась в монахини и, явившись к протопопу уже черницей, вымолила у него прощение и вновь вступила в число его домочадцев.

Но та самая деятельность, которая так привязывала к Аввакуму одних, обращая их в его покорных учеников, восстановила против него других. Его резкие проповеди и обличения задевали чересчур много интересов и не могли не вызывать сильного отпора, постоянные же столкновения с окружающими создавали вокруг него массу врагов. На протопопа пошли жалобы, за полтора года «пять слов государевых» сказывали на него, и, наконец, слухи о его энергичной пропаганде против новшеств дошли до Москвы. Оттуда прислан был указ — ехать Аввакуму дальше в ссылку на Лену. Одновременно с этим получил он из столицы известие, что два его брата, жившие во дворце, равно как и их жены и дети, умерли во время мора, бывшего перед тем в России. С стесненным сердцем

поехал протопоп в назначенную ссылку, а уже в Енисейске застал его новый указ, повелевавший ему ехать в Даурию с отправлявшимся туда под начальством воеводы Афанасия Пашкова военным отрядом.

Пашков получил поручение искать в Даурской земле пашенных мест со всякими угодьями и в таких местах для укрепления русского владычества ставить остроги; к этой-то колонизационной экспедиции был прикомандирован Аввакум в качестве священника, благодаря чему он очутился в непосредственной зависимости от начальника отряда. При широкой власти, какую пользовались отдельные воеводы, очень мало подвергавшиеся контролю со стороны центрального управления, они являлись по большей части вполне самовластными правителями, а царившая грубость нравов нередко налагала на их самоуправление действия отпечаток крайней жестокости. В Сибири, откуда жалобы населения не так-то скоро могли дойти до Москвы, этот порядок давал себя чувствовать сильнее, чем где бы то ни было; здесь произвол воевод часто принимал такие грубые и примитивные формы, какие все-таки невозможны были в областях Европейской России. Пашков, в отряд которого попал Аввакум, был типичным образцом такого администратора: глубоко невежественный, грубый, жестокий, одаренный в большой мере суеверием и в очень малой какими-либо религиозными и нравственными понятиями, он являлся как бы воплощением беспощадной материальной силы: «суров человек, — говорил о нем Аввакум, — беспрестанно людей жжет, и мучит, и бьет». Казни, плети, кнуты и пытки служили у него обыкновенными средствами поддержания дисциплины среди подчиненных. И этому-то человеку дано было из Москвы еще специальное приказание строго наблюдать за Аввакумом и «мучить» его.

Казалось, только полная и безусловная покорность могла при таких условиях сколько-нибудь обезопасить Аввакума от проявлений грубого насилия со стороны воеводы. Но Аввакум неспособен был к такой покорности и не искал спокойствия и мира. Физической силе, над ним тяготевшей, он смело противопоставил духовный авторитет, произволу — нравственные законы и религи-

озные заповеди, жестокости — отважное свободное слово проповедника и гордое смирение мученика. Столкновение между двумя столь противоположными людьми было неизбежно, и Аввакум не только не уклонялся от него, но даже первый, вмешавшись в распоряжения Пашкова, вызывал борьбу, которая затем продолжалась уже все время их совместной жизни и о которой сам он впоследствии выражался таким образом: «он меня мучил, или я его, не знаю. Бог разберет в день века».

По дороге, на р. Тунгуске отряд Пашкова встретил караван, в котором, между прочим, плыли две вдовы, уже старухи, лет за шестьдесят, думавшие вступить в монастырь. Пашков стал принуждать их возвратиться и выйти замуж; не вытерпел этого Аввакум и начал увещевать воеводу не нарушать апостольских правил. Крутой воевода не потерпел, в свою очередь, такого вмешательства и, в виде наказания, стал гнать проповедника с дощаника, уверяя, что из-за его еретичества суда плохо идут по реке, и требуя, чтобы он шел берегом, по горам. «О, горе стало! — рассказывает протопоп. — Горы высокие, дебри непроходимые; утес каменный, яко стена, стоит, и поглядеть — заломя голову». Аввакум опять прибег к увещанию, что в его устах было почти равносильно с обличением, и отправил к Пашкову «малое писанейце». «Человече! — писал он здесь, — убойся Бога, сидящего на херувимех и призирающа в бездны. Его же трепещут небесные силы и вся тварь со человеки, един ты презираешь и неудобства показуешь...» Такое послание окончательно вывело Пашкова из себя, и он решил усмирить дерзкого ослушника. О последовавшей сцене пусть расскажет сам протопоп.

«А се бегут, — вспомнил он в своем «Житии», — человек с пятьдесят: взяли мой дощаник и помчали к нему, — версты три от него стоял. Я казакам каши наварил, да кормлю их: и они, бедные, и едят, и дрожат, а иные плачут, глядя на меня, жалеют по мне. Привели дощаник; взяли меня палачи, привели пред него: он со шпагою стоит и дрожит. Начал мне говорить: поп ли ты, или распоп? А аз отвечал: аз есмь Аввакум протопоп; говори, что тебе дело до меня: Он же рыкнул, яко дивий

зверь, и ударил меня по щеке, тоже по другой, и паки в голову, и сбил меня с ног, и, чекан ухватя, лежащего по спине ударил трижды и, разболокши, по той же спине семьдесят два удара кнутом. А я говорю: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помогай мне! Да тоже, да тоже, беспрестанно говорю. Так горько ему, что не говорю: пощади! Ко всякому удару молитву говорил. Да посреди побой вскричал я к нему: полно бить-то! Так он велел перестать. И я промолвил ему: за что ты меня бьешь? Ведаешь ли? И он велел паки бить по бокам, и отпустили. Я задрожал, да и упал. И он велел меня в казенный дощаник оттащить: сковали руки и ноги и на беть кинули. Осень была: дождь на меня шел, всю ночь под капелию лежал».

Побоями не ограничилось наказание, наложенное Пашковым на непокорного протопопа; всю остальную дорогу его везли скованным, пока наконец отряд добрался до Братского острога, где и остановился на зимовку. Здесь Аввакума сперва посадили в холодную тюрьму, и только в половине ноября воевода перевел его в теплую избу, но и в ней держал, как преступника, в оковах, «с аманатами и с собаками», тогда как семья его была сослана в другое место, верст за двадцать. Когда один из сыновей протопопа, еще мальчик, вздумал навестить отца, Пашков приказал на ночь бросить его в ту студеную тюрьму, в которой сидел прежде сам Аввакум, а утром прогнал обратно, не допустив и повидаться с отцом. Так в одиночестве и заключении и закончился для Аввакума первый год его пребывания в отряде Пашкова. Вести о злоключениях протопопа дошли до архиепископа Симеона, и он писал в Москву о зверствах Пашкова. «А в Даурию, государь, к Афанасию Пашкову, — прибавлял он, — попов и дьяконов посылать не смею, потому что он нравом озорник великий». Из Москвы Симеону ответили, что Пашков будет сменен, но Аввакуму долго еще пришлось дожидаться этой смены.

С началом весны открылся дальнейший поход: переплыв Байкал, отряд Пашкова прибыл на р. Хилку и целое лето тянулся вверх по ней; дальше путешествие продолжалось уже и летом, и зимой: летом плыли по рекам,

зимою на лошадях и пешком совершали переходы по суше, тащились волоком. С Аввакума сняты были оковы, и он соединился со своей семьей, но за то Пашков заставил его работать вместе с казаками; он должен был и тянуть лямкою суда, и участвовать в других работах, а сверх того еще заботиться о жене и детях. Помощников он не имел, так как дети были еще малы, а работников Пашков у него отнял и другим запретил к нему наниматься, да и нанимать Аввакуму было почти уже не на что: имущество, вывезенное из Москвы и состоявшее по преимуществу из одежды и книг, частью погибло во время разных дорожных невзгод, частью же было разграблено казаками или отнято самим Пашковым, так что его оставалось уже очень немного.

А тем временем ко всем бедам прибавилась еще новая: в отряде не хватило хлеба и началась жестокая нужда, не коснувшаяся одного воеводы, у которого «казачьими трудами» всего было запасено достаточно. И без того мрачная обстановка, окружавшая протопопа, сделалась еще мрачнее, еще безотраднее. «Стало нечего есть, — описывает сам он это время своим образным языком, — люди учили с голоду мереть и от работные водяные бродни. Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батоги суковатые, пытки жестокие, — огонь да встряска, — люди голодные: лишь станут мучить, ано и умереть. Ох времени тому!» Сам Аввакум сперва еще кое-как пробивался с семьей; правда, хлеб, какой он вывез с собой из Енисейска, Пашков у него отнял, но на оставшиеся еще у него вещи он выменивал у воеводы хлеб и питался вареной немолотой рожью. Когда и этот источник иссяк, протопопу с семьей пришлось испытать весь ужас голода, довелось питаться травами и сосновой корой вместо хлеба, есть павших лошадей и найденные на дороге трупы животных, зарезанных волками: «что волк не доест, то мы доедим». И долго уже спустя протопоп с сокрушением сердечным вспоминал, что и он «волею и неволею причастен кобыльим и мертвечьим звериным и птичьим мясам». Его железное здоровье выдержало все эти испытания, но из детей его два маленьких сына умерли в эту тяжелую пору.

Между тем, терпя голод и лишения, вынося жестокие истязания воеводы и теряя людей по дороге, отряд все подвигался вперед, и самая эта дорога способна была навести ужас. Летом было еще легче, но зимою, когда суровые морозы сковывали реки и землю ледяным покровом, жутко было немногочисленным пришельцам в дикой и пустынной стране, среди редкого, но враждебного населения, которое они только еще собирались подчинить своей власти. Тяжесть пути особенно давала себя знать Аввакуму; для детей и кое-какого оставшегося у него имущества воевода дал ему двух лошадей, но сам он с женой должен был идти пешком и не раз, должно быть, на этом длинном пути разыгрывались сцены, подобные той, описание которой мы находим в «Житии» Аввакума.

«Страна варварская; иноземцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошадьми идти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет, бредет, да и повалится, — скользко гораздо! В иную пору, бредучи, повалилась, а иной томный же человек на нее набрел, тут же и повалился: оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: матушка-сударыня, прости! А протопопица кричит: что бы, батя, меня задавил! Я пришел, — на меня бедная пеняет, говоря: долго ли мука сея, протопоп, будет? Я и говорю: Марковна, до самой смерти. Она же, вздыхая, отвечала: добро, Петрович, ино еще побредем».

Немногим легче стало протопопу и с момента прибытия на место. Голод почти не прекращался, так как урожаи были плохи — по большей части дожди уничтожали посевы, нужда царила жестокая, а Аввакуму надо было заботиться о пропитании многочисленной семьи и без усталости работать, подвергаясь притом постоянным гонениям со стороны воеводы. При такой жизни не на одну только мужественную протопопицу находило временами уныние. Под тяжким гнетом лишений поддавалась иногда и железная твердость самого Аввакума. Бывали минуты, когда он, истомленный мучениями Пашкова, собирался уже просить у него пощады; бывало, что под непосильным бременем житейских забот он забывал

о молитве и «изнемогал в правиле». Но эти моменты слабости длились недолго. Проникавшая все существо Аввакума глубокая уверенность в правоте своего подвига помогала ему оправиться от уныния; воображение, вечно работавшее в одном направлении, вызывало перед ним чудесные видения, в которых деятельную роль играли небесные и адские силы, и угасшая было бодрость духа снова воскресала в протопопе. Ангелы являлись ему и возбуждали в нем мужество, предостерегая от падения, «сила Божия возбраняла» ему смиряться перед воеводой, и Аввакум, находя в себе под впечатлением этих видений новую мощь, налагал на себя еще большее бремя молитвенного подвига, еще с большим рвением обличал Пашкова, терпеливо вынося все истязания. В эти моменты духовного экстаза самые обыденные явления жизни принимали в его глазах чудесные очертания, и он всюду сознавал присутствие невидимой силы, его охраняющей. Находил ли он прорубь во льду озера, когда ему хотелось пить во время путешествия, осекалось ли ружье, направленное Пашковым на своего сына, вздумавшего заступиться за протопопу, — во всем этом Аввакум видел проявление божественной силы, стерегущей своего верного служителя.

Исполненный живой веры в свой подвиг, Аввакум не ограничивался пассивной ролью мученика, но постоянно переходил в роль обличителя и проповедника. Неумолчно осуждал он Пашкова всякий раз, как видел в его действиях отступление от правого пути, постоянно убеждал его исполнять религиозные предписания и церковные обряды и с непоколебимой стойкостью выносил все мучения, которыми щедро осыпал его взбешенный воевода. Такие отношения, плохо укладываваясь в обычные рамки положения ссыльного перед своим начальником, скорее имели характер ожесточенной борьбы двух противников, воплощавших в себе грубую силу и убеждение, причем первая не только не одерживала в этой борьбе полной победы, но терпела порою и поражения. Действительно, строгая подвижническая жизнь протопопу и его непоколебимое мужество даже в свирепом воеводе пробуждали порою мысль о существовании чего-то выс-

шего, чем простая сила, и невольно импонировали ему до такой степени, что он временами как бы подчинялся протопопу и признавал его авторитет; так, он по совету Аввакума стал было одно время служить вечерни и заутрени, надеясь, что это соблюдение обряд доставит хороший урожай; так, он поверил в чудесное исцеление своего внука протопопом и смиренно благодарил последнего. Правда, подобный перевес Аввакума держался очень недолго: приливы набожности и сравнительного смирения у воеводы быстро проходили и сменялись по какому-нибудь поводу новой, часто еще более жестокой вспышкой, в которой вполне давала себя знать его необузданная, непривычная к какому бы то ни было нравственному сдерживанию натура.

Но и Аввакум, в свою очередь, не довольствовался только отстаиванием своих взглядов, мученичеством за них и распространением их посредством убеждения. Его пылкий фанатизм увлекал его далеко за эти границы, и он способен был в вопросах веры явиться насильником, мало чем уступавшим в этом отношении самому мучившему его воеводе. Случилось раз, что Пашков, отправляя своего сына Еремея с небольшим отрядом казаков в поход на один из соседних народцев, призвал шамана погадать, удастся ли это предприятие. Шаман предсказал полный успех похода, обещал богатую добычу и благополучное возвращение, и ратные люди обрадовались. Но глубоко опечалился протопоп, видя, что христиане слушают «бесов» и верят им. Возгоревшись благочестивою ревностью, он решил посрамить бесовские козни и наказать людей, осмелившихся искать предсказаний, советов у дьявольского служителя, вместо того, чтобы обратиться к христианскому священнику. С этой целью он «в хлевине своей кричал с воплем ко Господу: послушай мене, Боже! Послушай мене, Царю небесный-свет, послушай мене! Да не возвратится вспять ни один от них и гроб им там устроиши всем! Приложи им зла, Господи, приложи и погибель им наведи, да не сбудется пророчество дьявольское!» В своем фанатическом рвении протопоп доходил, таким образом, до сознательного изуверства и ради торжества своих взглядов готов был при-

нести в жертву жизнь неповинных людей, употребляя для этого такое средство, которое в его представлении являлось вполне действительным. Пашкову донесли о такой молитве Аввакума, но он сперва не обратил внимания на донос и вспомнил о нем лишь тогда, когда отправленный в поход отряд не вернулся к сроку. Тогда он решил, что это результат заклятий протопопы, и собрался было пытаться его. Аввакум, видя беду, приготовился уже к смерти, но его спасло случайное возвращение сына Пашкова, который один только и спасся из всего отряда, истребленного инородцами. Сам Еремей приписывал свое спасение исключительно своим хорошим отношениям с Аввакумом и, вступившись за последнего перед отцом, успел отвести беду от головы протопопы.

Аввакум и вообще не был в своей жизни с Пашковым совершенно одинок: у него были и здесь заступники и помощники, часто спасавшие его и от последствий воеводского гнева, и от тяжелых, подчас совершенно невыносимых тисков нужды. Если даже на самого воеводу нравственная личность Аввакума оказывала некоторое влияние, то еще более глубокое впечатление производила она на многих других из окружавших его людей, и прежде всего на семью воеводы, состоявшую, кроме самого Пашкова, из его жены, сына и снохи. Для этих людей, мало сведущих в вопросах религии, настолько суеверных и невежественных, что они могли обращаться за предсказанием к шаману и за лечением к «мужику-шептуну», одно было ясно в протопопе, что это человек, чтущий веру и благочестие выше всего, страдающий за свои религиозные убеждения и готовый умереть за них. Какого рода были эти убеждения, насколько они были истинны и насколько заключали в себе заблуждения, — такие вопросы были бы не под силу этим людям; но они видели, как ревностно соблюдает Аввакум все подробности религиозной обрядности, наиболее доступной их пониманию, и это в связи с его мученической жизнью порождало в их умах представление о нем, как о поборнике религиозной истины и великом подвижнике благочестия. Это представление еще укреплялось проповедью Аввакума, полной горячего осуждения новшеств,

занесенных в русскую церковь патриархом: понятие о ереси, в которой обвиняли протопопа, плохо вязалось с отстаиванием русской церковной старины в умах людей, привыкших эту последнюю считать единственно правой верой. Так среди семейных воеводы и установился взгляд на Аввакума, как на невинного страдальца и истинного учителя. К нему и здесь присылали для лечения бесноватых; сноха Пашкова приглашала его лечить ее сына, а раз протопоп совершил для нее чудо над курами.

«У боярыни куры все переслепли и мереть стали, — рассказывает он об этом со своею неподражаемой, эпической наивностью, — так она, собравши в короб, ко мне их прислала, чтоб-де батко пожаловал — помолил о курах. И я-су подумал: кормилица то есть наша; детки у ней; надобно ей курки! Молебен пел, воду святил, курок кропил и кадил; потом в лес сбродил, — корыто им сделал, из чего есть, да к ней все и отослал. Куры, Божиим мановением, исцелели и исправились по вере ее».

Совершая такие чудеса для веровавших в него людей, Аввакум вместе с тем своими поучениями утолял их духовную жажду. В свою очередь они, чем могли, облегчали его тяжелую долю: сын Пашкова не раз заступался за него перед отцом, рискуя даже собственной жизнью, так как воевода в гневе не щадил никого; жена и сноха воеводы снабжали припасами протопопа и его семью во время самой жестокой нужды, пристигшей было их в Даурии. Припасы приходилось пересылать тайком от Пашкова, поэтому Аввакум не мог получать многого от своих поклонниц; ему доставляли то хлеб, то кусок мяса, то немного муки, бывало, что присылали и корму, взятого из куриного корыта, но все же эти скудные даяния помогли ему кое-как перебиться в течение голодного времени, которое иначе трудно было бы пережить ему с семьей.

И не в одной воеводской семье находил для себя ссыльный протопоп приверженцев и последователей. Не мало их нашлось с течением времени и среди казаков, составлявших отряд Пашкова. Видя также в Аввакуме высокого подвижника и борца за веру, склоняясь перед его нравственной мощью, они тем легче сближались с

ним, что находились под общим с ним гнетом. Это усиливало их теплое чувство к Аввакуму, и если последний среди них, самих беспомощных и терпевших всегдашнюю нужду, не мог найти ни заступников, ни помощников, если все их услуги по отношению к нему могли исчерпываться разве лишь предупреждением об опасности, грозившей со стороны Пашкова, зато многие из них явились ревностными учениками его, равно готовыми пострадать за то, что вместе с ним считали истинным древним благочестием, и почти все, за немногими исключениями, относились к нему в высшей степени сердечно, как к невинному страдальцу.

В далекой ссылке Аввакум остался таким образом верен себе. Ни суровый климат, ни голод, ни пытки и мучения воеводы не сломили его нравственной энергии, и не только он не отказался от пропаганды своих взглядов, но временами его стойкое мужество колебало даже самого грозного палача, под власть которого он был отдан. Трудно сказать, чем могла бы кончиться эта неравная борьба между протопопом и воеводой, но она была прервана в самом разгаре. Более пяти лет уже провел Аввакум в отряде Пашкова, как пришли из Москвы, в начале 1661 года, два указа: один сменял Пашкова с воеводства, другой приглашал протопопа вернуться в столицу. Пашков поехал вперед с ратными людьми, а Аввакума оставил почти с одними больными и стариками, надеясь, быть может, что с таким конвоем он погибнет на пути. Но Аввакум мало внимания обратил на это. Слишком доволен он был, что избавился от заклятого врага; к тому же долголетняя ссылка, наконец, прекратилась, его призывали в Москву и, конечно, призывали потому, что убедились в истине его взглядов. Пророческие видения сбывались наяву, и мог ли он, взысканный ими, сомневаться в том, что та же божественная сила, которая выводила его из тяжкого плена, охранит его на пути и не даст погибнуть, не совершив своего призвания? С глубоким умилением, полный энтузиазма и веры, стал собираться он в дорогу и, покончив через месяц сборы, отправился, везя с собою 17 человек.

На прощанье он выкупил у казаков и увез с собою одного из бывших приспешников Пашкова, который при

последнем преследовал его и искал его смерти; теперь Аввакум отплатил ему спасением жизни, так как казаки, избавившись, наконец, от гнета воеводы, собирались своим судом расправиться с его наиболее ревностными слугами. Другого подобного приспешника Пашкова казаки не хотели отдать Аввакуму и уже на пути он перенял протопопа, моля спасти его от погони и лютой смерти. Ради спасения человеческой жизни всегда правдивый протопоп решился на тяжелый для его совести грех лжи: он спрятал беглеца под постелью, на которую положил свою жену с дочерью, а догнавшим его казакам сказал, будто у него нет того, кого ищут. Всю лодку обыскали казаки, а постели протопопицы не тронули. «Опочивайте, матушка! И так ты, государыня, горя натерпелась!» говорили они мужественной женщине, долгие годы безропотно страдавшей на их глазах и вместе с ними. Погоня уехала ни с чем.

С таким-то экипажем, снабдив лодку вместо оружия крестом, двинулся Аввакум в далекий и опасный путь, в конце которого лучезарной звездой горела для него надежда полной победы.

IV

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ И НОВОЕ УДАЛЕНИЕ ИЗ НЕЕ

Надежды Аввакума были, однако, в значительной мере неосновательны: на деле вызов его в Москву объяснялся не победой «старой веры» и ниспровержением Никоновских реформ, а иными, более мелкими причинами, заключавшимися в другой группировке дворцовых партий и в изменении положения самого патриарха. Властолюбивый и крутой Никон не ужился в конце концов с мягким и нерешительным, легко поддававшимся чужой воле, но в свою очередь самолюбивым и питавшим высокое мнение о своей власти, царем Алексеем: недовольные патриархом бояре успели внести охлаждение в отношения Алексея Михайловича к его «собинному другу», а неловкие действия последнего еще усилили это охлаждение, и уже через пять лет высылки Аввакума из Москвы между царем и патриархом произошел решительный разрыв. Гордость Никона не позволяла ему ради примирения с царем идти на уступки, и он попытался добиться той же цели иным путем, более соответствовавшим его характеру.

11 июля 1658 года, после службы в Успенском соборе, патриарх заявил народу, что он покидает свой патриарший престол, и, несмотря на увещания присланных от царя бояр, удалился в Воскресенский монастырь. Правда, расчеты Никона не оправдались, так как Алексей Михайлович не выказал ни особенной уступчивости, ни особого горя по поводу его удаления, но вместе с этим у царя не нашлось и достаточно решимости, чтобы разом покончить с запутавшимся вопросом избранием нового патриарха. Между тем сам Никон, заметив свою ошибку, вздумал повернуть и взять назад свой отказ от патриаршего сана, что еще более усложнило дело.

При установившейся зависимости русской церкви от светской власти, выбор того или другого пути действий в этом запутанном положении вполне зависел от воли царя, но Алексей Михайлович колебался и, не желая уступить притязаниям Никона, в то же время долго не мог собраться с духом нанести последний удар своему недавнему другу. С другой стороны, большинство бояр, опасаясь самовластного характера Никона, ни в каком случае не хотело вновь видеть его на патриаршем месте и старательно изыскивало средства устранить возможность примирения между ним и царем. В этих видах, между прочим, бояре обратились к тем духовным лицам, которые некогда, до патриаршества Никона, были близки к царю Алексею и вслед затем первые возвысили голос против реформ нового патриарха, за что тяжело и поплатились. Все эти лица были хорошо знакомы с боярами, часто даже связаны узами личной дружбы с ними, а сверх того их соединяла общая вражда к бывшему патриарху, хотя эта вражда и происходила от различных причин. Мало принимая во внимание это последнее обстоятельство, бояре рассчитывали вновь сблизить Алексея Михайловича с прежними советниками и тем помешать его примирению с Никоном, предполагая, что затем вопрос о церковной реформе можно будет решить путем мирного соглашения. Исходя из таких соображений и пользуясь тем, что, с удалением Никона от патриаршества, усердие церковной иерархии к преследованию раскольников несколько ослабело, они и постарались устроить возвращение в Москву влиятельнейших членов бывшего кружка протопопов.

Ничего не зная в Даурии об этих обстоятельствах, Аввакум объяснял себе свой вывоз из ссылки победою того дела, за которое он вел борьбу. Но недолго могли держаться эти светлые иллюзии; проехав благополучно через области инородцев и добравшись до первых русских городов, протопоп тут же и «уразумел о церкви, яко ничто же успеваает», узнал, что гонение на людей, восставших против Никона и его реформ, все еще продолжается, а самые эти реформы по-прежнему находят себе признание и деятельную поддержку со стороны светских властей. Восторженное настроение, охватившее было его, быстро

исчезло, уступив место мучительному разочарованию и даже сомнениям. Перед этим он свыкся с мыслью об окончании своего страдальческого подвига, а теперь опять видел перед собою новую борьбу, которая легко могла навлечь новые и, пожалуй, еще худшие бедствия не только на него, но и на его жену и детей, только что избавившихся от мучений и опасностей. Под влиянием этих мыслей в душу Аввакума проникли мучительные колебания.

Переход от радостных надежд к прежнему суровому, фанатическому мужеству не давался ему сразу, и он тяжело и горько задумался, начать ли снова свою обличительную проповедь или, воспользовавшись свободой, скрыться где-нибудь в тихом месте и там, вдали от искушений и бедствий мира, дожить свой век, заботясь только о своем личном спасении. Из этой нерешимости его вывела жена, к которой он обратился за советом. «Жена! Что сотворю! — сказал он ей, — зима еретическая на дворе: говорить ли мне, или молчать? Связали вы меня!» «Господи, помилуй! — отвечала ему Настасья Марковна, — что ты, Петрович, говоришь! Аз тя и с детьми благословляю: дерзай проповедати слово Божие по-прежнему. А о нас не тужи; дондеже Бог изволит, живем вместе; а егда разлучат, тогда нас в молитвах своих не забывай! Поди, поди в церковь, Петрович, обличай блудню еретическую!» И ободренный протопоп снова начал «ересь никонианскую со дерзновением обличать», по всем городам, через которые ему случалось проезжать, проповедуя о мерзости Никоновских исправлений в церковных книгах и обрядах и убеждая людей крепко держаться единственно правого древнего благочестия.

Тем не менее прежняя целостность настроения не сразу восстановилась в возмущенной душе самого проповедника. Невольно, быть может, даже помимо его сознания, радость по поводу собственного спасения от казавшихся бесконечными страданий несколько смягчала мрачный колорит фанатизма его убеждений, склоняя его к большой терпимости, если не в мнениях, то в их выражении словами и поступками. Для освобожденного, не преследуемого Аввакума никониане не были уже совершенно теми же беспощадными врагами, какими они пред-

ставлялись ему в момент жестоких гонений. Но, с другой стороны, сущность убеждений протопопа нисколько не изменилась, а то обстоятельство, что кругом господствовало учение, которое он считал ересью, что в виду этого в нем самом уже пробуждалось сомнение, порождало жгучее до болезненности опасение, как бы не лишиться всех плодов своего подвига, не упасть в расставленные сети. Столкновение этих противоположных чувств и стремлений неизбежно вызывало сильную душевную разладицу, которая при крайне нервной натуре Аввакума обыкновенно разрешалась у него видениями. Так было и на этот раз. В Тобольске, где протопоп остановился зимовать на второй год своего возвратного путешествия, он начал было ходить в соборную церковь, где богослужение совершалось по исправленным служебникам, и стал уже несколько привыкать к такой службе: «что жалом, духом антихристовым и ужалило было». Но однажды после такого посещения церкви ему во сне послышался голос: «блудися от мене, да не полма растесан будиши!» В ужасе проснулся протопоп и пал перед иконой ниц, восклицая: «Господи, не стану ходить, где по новому поют!»

Так, по мере того, как сглаживалось первое радостное впечатление свободы, все резче выступал наружу непримиримый фанатизм Аввакума, все более он становился самим собою, человеком, не желающим иметь никакого общения ни с кем, кто только в чем-либо расходился с ним. Как раз в то время, когда он, возвращаясь из ссылки, зимовал в Тобольске, в этом городе жил другой знаменитый ссыльный, хорватский патриот и своего рода славянофил по убеждениям, Юрий Крижанич, приехавший в Москву и из нее в Сибирь. Казалось, эти два человека, которые испытали почти одинаковую судьбу, в убеждениях которых национальные начала равно занимали первенствующее место, могли найти много точек соприкосновения друг с другом; на деле все их сношения ограничились одним коротким свиданием, при котором даже не состоялось настоящего разговора. Предоставляем рассказать об этом свидании самому Крижаничу.

«Аввакум, — говорит он, — послал за мной и вышел ко мне на крыльцо; когда я хотел ступить на лестницу и

взойти, он сказал: «Не ходи сюда, стой там и скажи, какой ты веры». Я сказал: «Благослови, отче!» А он отвечает: «Не благословлю, — исповедуй прежде свою веру». Я отвечал: «Отче честной! Я верую во все, во что верует святая апостольская церковь, и священническое благословение принимаю в честь и прошу его в честь. И о вере готов объясниться с архиереем, а пред тобою, путником, который и сам подвергся сомнению веры, нечего мне широко о вере говорить и объясняться. Если ты не благословишь, благословит Бог! Оставайся с Богом!»

Но если резкая нетерпимость Аввакума отпугивала от него людей с несколько более широким умственным кругозором, то тем большим успехом пользовалась его горячая проповедь среди масс. На всем обратном пути, продолжавшемся около трех лет, толпы народа в городах и селах собирались слушать поучения протопопа. Эти поучения, полные энтузиазма, освященные кровью проповедника, производили сильное впечатление на народные массы, и немало людей, благодаря им, отшатнулось от церкви, немало подражателей и пособников примкнуло к Аввакуму из числа ревнителей благочестия.

Между прочим, в Устюге встретился протопоп с одним из частых тогда подвижников-юродивых, неким Федором, который и летом, и зимой ходил без верхнего платья, в одной рубашке, днем юродствовал на людях, а ночи проводил в усердной молитве, стремясь таким путем достигнуть спасения. Занятый своим подвигом юродства, он не обращал внимания на исправление книг, да, вероятно, сам не мог и заметить его особенностей, а споры, поднявшиеся по этому поводу среди духовенства, до него еще не доходили. Аввакум, познакомившись с ним, рассказал ему о новизнах в церкви и силой своего слова довел до того, что Федор, схватив имевшуюся у него псалтырь новой печати, «тотчас и в печь кинул, да и проклял всю новизну». Вслед затем он отправился с Аввакумом в Москву и сделался одним из ревностнейших его приверженцев и учеников.

Распространяя по пути свое учение и всюду почти приобретая учеников и сторонников, протопоп прибыль, наконец, и в Москву, из которой выехал около десяти лет

тому назад в ссылку. При этом въезде в столицу он был уже не тем малоизвестным священником, каким он жил в ней некогда: его сопровождал ореол мученичества, дорогой ценой добытый в Тобольске и Даурии и привлекавший на него теперь внимание даже тех, кто его не знал раньше или мало знал. Этот ореол, создавшийся вокруг него, имел особенное значение при условиях, какие Аввакум застал в Москве.

Брожение умов, принявшее в русском обществе с момента преобразований Никона такой резкий характер, далеко еще не привело к последним своим результатам; различные партии еще не сформировались окончательно и колебания, переходы с одной стороны на другую происходили в высшей степени часто. Некоторые из людей, десять лет назад выступивших с протестом против новшеств патриарха, теперь уже отступились от начатого ими дела, разубедившись в истине его, и в числе их был сам Иван Неронов, некогда признанный глава кружка протопопов, друг и руководитель Аввакума. Сосланный сперва в Спасокаменный, а затем в Кандалашский монастырь, он уже 10 августа 1655 года бежал из последнего в Соловки и отсюда пробрался в Москву. Здесь он в течение нескольких месяцев скрывался от грозного патриарха то в самом городе, то в его окрестностях, в исходе 1656 года постригся в монахи и принял имя старца Григория. Во время этих скитаний он сперва продолжал проповедь против новых книг и обрядов, но затем его убеждения колебались под влиянием неожиданных для него событий. На соборе 1655 года в Москве, кроме русского духовенства, которое, по мнению Неронова, соглашалось с Никоном лишь из страха перед ним, присутствовали два приезжих патриарха, Макарий антиохийский и Гавриил сербский, и эти патриархи предали проклятию двоеперстие и своими подписями одобрили вновь исправленный «Служебник» и только что переведенную с греческого книгу «Скрижаль». К ним присоединились и голоса других двух патриархов, константинопольского Афанасия и иерусалимского Паисия, а последний в ответе своем на вопросы Никона и Алексея Михайловича строго осудил протест Неронова против преобразовательной деятельности Никона.

Все это оказало подавляющее влияние на Неронова: вражда его к Никону сохранилась в полной силе, но он не был настолько убежден в своей правоте по разделявшему их вопросу, чтобы найти в себе достаточно силы противиться решению глав вселенской церкви. Приговор патриархов поверг его в сомнение, расширившееся тем, что в январе 1657 года старец Григорий явился к Никону и заявил ему, что не хочет быть под клятвою вселенских патриархов и потому готов признать его реформы. Хотя и после того он продолжал еще придерживаться некоторых старых обрядов и книг, но уже не выступал с принципиальной оппозицией против действий патриарха, и только личные отношения его к последнему никак не могли наладиться: старая вражда давала себя чувствовать постоянными вспышками, а, когда произошел разрыв между царем и патриархом, Неронов явился одним из наиболее усердных противников Никона. Тем не менее он уже сошел со сцены раскольников и, хотя его пример увлек за собой нескольких людей, питавших веру в него и личную к нему привязанность, его поступок не оказал заметного влияния на все движение в его целом, так как оно давно уже перешло за рамки протеста единичных личностей.

В этот-то момент, когда от движения отходили более умеренные его элементы, явился в Москве Аввакум, предшественный славою непоколебимого страдальца за веру. Прием, встреченный им здесь, не оставлял ему желать ничего лучшего: «яко ангела, прияша мя», — писал он. Его заклятый враг, Никон, бессильный и всеми покинутый, сидел в Воскресенском монастыре; бояре, видевшие в протопопе могучего союзника против павшего патриарха, рады были его возвращению, а многие из них смотрели на него и как на проповедника истины. Сам царь, всегда питавший расположение к Аввакуму, обрадовался его приезду. Соглашаясь с Никоном в деле церковной реформы, Алексей Михайлович, не мог, однако, отказаться от того уважения, которое он питал к ревнителям русской обрядовой старины, и это отразилось на всем его отношении к ним во время их распри с патриархом. Он позволял последнему налагать жестокие на-

казания на его противников, но сам как бы устранялся от участия в этих карах, а иногда даже старался явно или тайно облегчить участь наказанных, упрашивая, например, Никона не расстригать Аввакума или скрывая от патриарха пребывание в Москве Неронова после бегства из Кандалашского монастыря. При всем теоретическом сознании нужды в преобразованиях, вкусы и привычки Алексея Михайловича тянули его к московской старине, и он пытался, всегда, впрочем, безуспешно, примирить те и другую.

Теперь представитель этой старины являлся подле него, озаренный новым светом мученика за свои идеи, и притом в такой момент, когда царь окончательно разошелся и вступил в упорную вражду с патриархом, втянувшем его на путь преобразований в церковной сфере. Вид Аввакума должен был привести ему на память те далекие, полные мира и невозмутимого спокойствия дни, когда еще не было никаких церковных раздоров, когда вокруг дворца группировался кружок ревнителей благочестия, соединявший в себе многих из тех людей, которые теперь стали ожесточенными врагами. И под влиянием этих разнообразных впечатлений царь как нельзя более милостиво принял возвращенного из ссылки протопопа. «Государь, — рассказывал впоследствии Аввакум об этом свидании, — меня тотчас к руке поставить велел и слова милостивые говорил: здорово ли-де, протопоп, живешь? Еще-де видаться Бог велел! И я сопровтив руку его поцеловал и пожал, а сам говорю, жив Господь, жива душа моя, царь-государь; а впредь что изволит Бог! Он же, миленький, вздохнул, да и пошел, куда надобе ему. И иное кое-что было, да что много говорить! Прошло уж то!» Повидавшись с Аввакумом, царь приказал поместить его в Кремль в Новодевичьем подворье и каждый раз, отправляясь куда-нибудь мимо его двора, испрашивал у протопопа благословения.

В свою очередь, Аввакум не замедлил воспользоваться благоволением царя и вскоре по возвращении подал ему пространную челобитную. «Государь наш свет! — писал он здесь, — что ти возглаголю, яко от гроба восстав от дальнего заключения, от радости великие обливаясь

многими слезами, — свое ли смертоносное житие возвещу тебе-свету или о церковном раздоре реку тебе-свету? Я чаял, живучи на востоке в смертех многих, тишину здесь в Москве быти, а ныне увидал церковь паче и прежнего смущенну». Рассказав про чудо, происшедшее при его проезде в одной из тобольских церквей и явившееся знамение ереси, заключающейся в исправленных Никоном книгах, протопоп указывал царю на мор, бывший перед тем в России, как на небесную кару за эту ересь, и продолжал: «Добро было при протопопе Стефане, яко вся быша и тихо и немятежно ради его слез и рыдания и не гордого учения: понеже не губил Стефан никого до смерти, якоже Никон, ниже поощрял на убийение». Немедленно вслед за этим Аввакум начинал указывать ереси Никона. «Всем, яко скорбно тебе, государю, от доуки нашей, — замечал он, прерывая свое изложение. — Государь-свет, православный царь! Не сладко и нам, егда ребра наши ломают и, развязав, нас кнутьем мучат, и томят на морозе голодом. А все церкви ради Божия страдаем».

И, как бы для иллюстрации этого положения, Аввакум рассказывает историю собственных страданий, сперва от недовольных прихожан в Лопатицах и Юрьевце, а потом от Никона и Пашкова, мимоходом замечая: «не челобитьем тебе, государю, реку, ниже похвалою глаголю... истинну-бо реку. Яко ты наш государь, благочестивый царь, а мы твои богомольцы: некому нам возвещать, какое строится в твоей державе». Перечислив вынесенные бедствия, Аввакум вновь возвращается к Никону и его еретическим новшествам. «Многие его боятся, — говорил он, — а протопоп Аввакум, уповая на Бога, его не боится. Твоя государева-светова воля, аще и паки попустишь ему меня озлобить: за помощью Божиею готов и дух свой предать... А душа моя прияти его новых законов незаконных не хочет. И в откровении ми от Бога бысть се, яко мерзок он пред Богом, Никон». Ереси Никона многочисленны и велики: «Христа он, Никон, не исповедует в плоть пришедша; Христа не исповедует ныне царя быти и воскресение его, яко иудеи, скрывает; он же глаголет неистинна Духа Святого; и сложение креста в

перстах разрушает; и истинное метание в поклонах отсекает, и многих ересей люди Божия и твоя наполнил». «Время, — заключил Аввакум, — отложить служебники новые и все его Никоновы затейки дурные. Потщися, государь, исторгнути злое его и пагубное учение, дондеже конечная пагуба на нас не прииде».

Своей челобитной Аввакум в известной мере удовлетворял ожидания бояр: трудно было бы отыскать более строгого обвинителя, более непримиримого врага патриарха. Но эта вражда, хотя и поддерживаемая личным озлоблением, носила все же по преимуществу принципиальный характер и шла слишком далеко: нападая на Никона, протопоп требовал отмены всех его «затеек», замены исправленных книг старыми, восстановления прежних обрядов, отмененных или преобразованных патриархом, словом, являлся представителем известного направления, а не личным врагом Никона. Такие требования не входили в желания большинства бояр, не мог на них согласиться и Алексей Михайлович, слишком далеко зашедший по пути реформы, чтобы иметь еще возможность вернуться назад. Впрочем, на первый раз обнаружившееся различие во взглядах не повело за собою явного столкновения, так как расположение царя и бояр к протопопу были слишком сильно, им слишком горячо хотелось удержать при себе этого строгого ревнителя благочестия. Поэтому, обходя молчанием ту общую программу действий, какую выставил Аввакум, его попытались склонить к уступчивости путем лично ему оказываемых льгот и пожалований. В последних недостатка не было: царь, царица, многие бояре и духовные власти прислали протопопу от себя денег и припасов, от имени Алексея Михайловича ему обещано было место сперва духовника царского, затем, — что гораздо более привлекало Аввакума — справщика на Печатном дворе, и в то же время царь прислал Родиона Стрешнева уговаривать Аввакума, чтобы он молчал и прекратил свои проповеди против церкви, по крайней мере, до собора, который обсудит дело Никоновской реформы. Протопоп, тронутый лаской, прельщаемый надеждой, что ему будет поручено исправление книг, действительно, как будто успокоился.

Он зажил в Москве, дожидаясь того времени, когда ему будет, наконец, позволено приступить к делу восстановления церковной чистоты, и в ожидании сперва распространял свое учение лишь путем частных бесед и знакомств. Почти безвыходно жил он в доме духовной своей дочери, боярыни Федосьи Прокопьевны Морозовой, наставляя в вере ее и сестру ее, княгиню Евдокию Урусову, бывал у Анны Петровны Милославской, познакомился и сблизился с князем Иваном Хованским, с Юрием Алексеевичем Долгоруким и иными. Могучая фигура страдальца протопопа и в этом кругу высшего московского общества на многих производила сильное впечатление. «Отец Аввакум, — говорила впоследствии Морозова, выражая это впечатление, — истинный ученик Христов, понеже он страдает за закон Владыки своего и сего ради хотящим Богу угодити довлеет учения его послушати».

Многие из этих знакомцев протопопа сделались и его ревностными последователями, вместе с ним ужасались проникшей в недра русской церкви ереси и готовились бороться с ней, но не было у него другой такой горячей сторонницы, как Морозова. Молодая вдова, богатая и знатная, она еще раньше знакомства с протопопом все свои душевные силы отдала на подвиги благочестия в духе московской старины: окруженная громадной свитой слуг, количество которых в ее доме заходило за 200 человек, имея 8000 душ крестьян, она пользовалась этим богатством только для того, чтобы щедрой рукой раздавать его неимущим, постоянно держала у себя в доме много убогих и нищих, а сама истязала плоть постом и молитвой и втайне от людей носила власяницу. На фанатическую проповедь Аввакума эта пылкая женщина отозвалась всем сердцем и вся ушла в созерцание объявшей Россию ереси и в борьбу с нею путем споров в знакомых домах с «никонианами». А таких споров много велось тогда в Москве и нередко приходилось участвовать в них и самому Аввакуму, особенно в доме Ртищева.

Один из первых насадителей богословского образования в Руси 17-го века и сторонников реформ Никона, Д.И.Ртищев был человеком набожным, но далеко не фанатиком, кротким по натуре и противником насильствен-

ных мер по принципу. Он принадлежал к той группе лиц среди разъединившегося московского общества, которая держалась примирительного направления и, будучи более близка к новшествам, не хотела, однако, вводить их силой, а надеялась искоренить церковный раздор посредством убеждения. Сам Ртищев, мечтая устроить «церковное благочестие тихо и немятежно», много рассчитывая на образование, для распространения которого немало было им и сделано. В его московском доме собирались киевские монахи, отчасти им же и приглашенные в Москву, бывали различные русские духовные и светские люди, приверженцы и противники преобразований, и здесь между ними постоянно происходили оживленные прения, в которых большое участие принимал и сам хозяин, живо интересовавшийся религиозными вопросами. Аввакума Ртищев давно знал и, разойдясь с ним во мнениях, не переставал ценить в нем его строгое благочестие и нравственную стойкость и не терял надежды примирить его с церковью.

Со своей стороны Аввакум часто хаживал в дом Ртищева, где познакомился и с новым лицом, появившимся тогда в Москве, с киевским монахом и учителем царских детей — Симеоном Полоцким. Между новыми знакомцами постоянно велись споры «о вере и о законе», во время которых Аввакум, по его собственному выражению, не мало «шумел» и энергично «бранился с отступниками». Но беседами с отдельными лицами и кабинетными богословскими спорами он не мог удовлетвориться; этому препятствовал и его собственный характер, и настроение, царившее в окружавшем его обществе и невольно сообщавшееся ему самому. Не смог он поэтому сдержать и данное царю обещание: его подхватила и унесла вперед волна движения, происходившего в согласии с его общими взглядами, но не считавшегося с его тактическими соображениями.

Раздор между царем и патриархом, не имевший в своем происхождении ничего общего с раскольничьим движением, не остался однако без косвенного влияния на это последнее. Выпущены были из заточения некоторые из вождей ревнителей старины, несколько ослаблено было

гонение на других, и у противников Никоновских реформ явилась надежда, что с падением злейшего их врага и гонителя восторжествует и самое их дело. Сообразно этому, движение, перед тем наружно как бы притихшее и развивавшееся лишь под покровом тайны, вновь ожило и дало о себе знать: ревнители старины спешили усилить свою пропаганду и доканать бывшего патриарха, и одно за другим появлялись их сочинения, направленные в защиту старых книг и обрядов, одна за другою приходили к царю челобитные об окончательном низвержении нечестивого патриарха, увлекшего Россию от правой веры на пути ереси и гибели.

Начавшись еще до приезда Аввакума в Москву, эта усиленная пропаганда продолжалась и после того, все более и более разрастаясь. Но в этих проявлениях движения ясно сказывалось уже и изменение его характера сравнительно с моментом первоначального его возникновения. Прежних вождей того кружка, из которого впервые пошло это движение, уже не было в числе его деятелей: Вонифатьев, с самого начала раздора с Никоном поведший себя очень решительно и двусмысленно, умер еще до возвращения Аввакума из Даурии. Неронов отступился от общего дела и присоединился к церкви, и с выбытием из рядов противников реформы этих двух наиболее влиятельных людей, служивших представителями умеренного направления, в движении взяла перевес крайняя партия. Тогда как Неронов и Вонифатьев ратовали преимущественно против личности Никона, готовы были пойти на кое-какие уступки и уклонялись от прямой борьбы с авторитетом вселенской церкви, их бывшие приятели, оставшиеся верными своему направлению, выдвинули вперед его принципиальную сторону и, резко отказываясь от всякого соглашения, готовились к непримиримой борьбе. Так, первым результатом гонения, поднятого на ревнителей старины, было усиление в их среде крайней группы и выступление ее на первый план. Но среди людей, составлявших эту группу, не было еще таких, которые пользовались бы тою же известностью и влиянием, как бывшие вожди московского братства, и потому место идейного главы движения до времени пустовало.

При таких-то обстоятельствах в Москве появлялся Аввакум и становился почти в такие же близкие отношения к царю, приобретал такие же широкие связи среди боярства, как прежде Вонифатьев и Неронов. Собственно его деятельность с момента первого столкновения с патриархом все время происходила в духе крайнего направления, и притом на его славе поборника благочестия не было ни одного пятна, его нельзя было упрекнуть ни в малейшем отступлении от проповедуемых им идей: он вынес свой тяжелый десятилетний искуc и вышел из него без перемен. Этот искуc возвышал его над всеми остальными раскольниками: никто не пострадал тяжелее его и никто не выказал большей энергии в перенесении страданий и большей смелости в распространении своего учения. В связи с видным положением, занятым теперь Аввакумом в московском обществе, и многочисленными знакомствами, заведенными им почти по всей России, от Москвы до Сибири, его слава проповедника старой веры и мученика за нее произвела то, что в глазах ревнителей старины он выдвигался вперед всех других предводителей раскола, совершенно уже затмевая собою личности первых его начинателей. К протопопу с разных сторон обращались за советами и разъяснениями в делах веры, у него искали утешения и поддержки в минуту сомнения и колебания, от него добивались практических указаний и советов, как держать себя оставшимся в правоверии с никонианами, как обходиться с их духовенством, и по мере того как все чаще делались такие обращения, он независимо от своей воли становился в почетное и ответственное положение главы людей, отторгшихся от никонианской церкви.

Но если это положение создавалось для Аввакума даже помимо его воли, то и он в свою очередь не думал уклоняться от роли «сильного Христова воеводы против сатанина полка». Напротив, присмотревшись к борьбе различных направлений в московском обществе и получив с разных сторон запросы, свидетельствовавшие об ощущаемой нужде в духовном руководительстве, он не воздержался от искушения самому броситься в эту борьбу и смело взял на себя роль такого руководителя. Так как устная проповедь в тех условиях, в которых он жил те-

перь в Москве, не могла принять особенно широких размеров, то он прибег и к письменной пропаганде, пустив в обращение написанные им сочинения против никониан. В этих сочинениях, как и в устной речи, он обвинял Никона, а за ним и всех, принявших исправленные при нем книги, в многочисленных и жестоких ересьях.

Такую ересь протопоп усматривал в изменении слов символа веры, как он читался в старых русских книгах: «его же (Христа) царствию несть конца» на чтение «не будет конца», изменения, давшего ему повод говорить, что никониане не признают Христа царем мира в настоящее время; точно также по поводу вставленного в старых книгах и выброшенного при исправлении слова «истинна» о Св. Духе протопоп утверждал, будто никониане «Духа Святого не истинна глаголят быти». Защищая двоеперстие и земные поклоны, он одновременно жестоко нападал на Никоновских справщиков книг, упрекая их, что «они пожирают стадо Христово злым учением и образы нелепо носят отступнические, а не природные наши словенского языка», называя их отщепенцами и униатами за то, что они ходят «в рогах» вместо обыкновенных «словенских скуфей», наконец, уверяя даже, что «они не церковные чада, а дьявола». В тех храмах, учил далее протопоп, где служба происходит по вновь исправленным книгам, нет настоящего богослужения: там «поют песни, а не божественное пение, по латини, и законы и уставы у них латинские, руками машут, и главами кивают, и ногами топчут, как обыкло у латинников, по органом». Наконец, Аввакум проповедовал, что и священники, принявшие исправленные служебники и совершающие по ним богослужение, не истинные пастыри, и учил не повиноваться им и не принимать от них причащения. Эти проповеди и писания Аввакума имели большой успех среди населения Москвы и многих отторгли от церкви, но сам протопоп ими еще не удовлетворялся.

Видя, что время идет, а власти не принимают никаких мер к восстановлению старой веры, Аввакум сделал новый решительный шаг и подал опять Алексею Михайловичу челобитную, в которой просил, «чтобы он старое благочестие взыскал... и на престол бы патриаршеский

пастыря православного учинил вместо волка и отступника Никона, злодея и еретика». Вместе с тем Аввакум требовал смены всех главнейших православных иерархов и замены их другими, из числа ревнителей раскола, причем называл и имена намеченных им кандидатов, Царь принял челобитную, но с той поры «кручиновать стал» на протопопа. Действительно, заключающиеся в ней просьбы как нельзя полнее раскрывали всю наивность расчетов благодушного, боявшегося резкого бесповоротного разрыва, Алексея Михайловича на примирение с Аввакумом путем предоставления ему видного положения в церковной иерархии и всяких других милостей. Для протопопа, как оказывалось, всего важнее было торжество его взглядов и потому он, пренебрегая всеми выгодами царской дружбы, открыто становился во главе партии, враждебно настроенной против существующей церковной иерархии, и, переводя вопрос на принципиальную почву, принуждал царя не только выбрать ту или другую сторону в нем, но и принять соответствующие практические меры. Такой выбор был уже сделан Алексеем Михайловичем заранее и, выступая с решительным отказом от соглашения, Аввакум тем самым подписывал себе приговор. К тому же в это время и от церковных властей стали поступать к царю жалобы на него, что он своею деятельностью многих людей в Москве отвратил от церкви. Сам же Аввакум, прослышав про недовольствие царя, подал ему еще челобитную, наполненную обличениями пороков и ересей приезжих греков и высшего московского духовенства.

При всем своем желании удержать Аввакума при себе и Алексей Михайлович увидел, наконец, как неосновательны были надежды на примирение его с церковью, понял, что он не Неронов, и не отступится от затеянного дела, и, скрепя сердце, прислал ему через боярина Петра Салтыкова свой приказ: «власти на тебя жалуются: церкви-де ты запустил; поедь в ссылку опять». Местом ссылки протопопа на этот раз назначен был Пустозерский острог, и 29 августа 1664 года, приблизительно через полгода по возвращении Аввакума в Москву, его с семьей вывезли в новую дорогу.

Не долго таким образом продолжалась жизнь протопопы в Москве, немного пришлось ему и ратовать здесь за старую веру. Через какие-нибудь шесть месяцев свободной жизни уже начиналась для него далекая ссылка, снова глянула ему в глаза северная зима с ее морозами и вьюгами, с ужасами дальнего и тяжелого пути. Перед ними дрогнуло сердце даже этого закаленного в бедствиях человека и из усталой груди в первый и в последний раз вырвалась мольба о пощаде. С дороги, из Холмогор, он отправил к царю новую челобитную, не поднимавшую уже никаких общих вопросов. «Христоролюбивому государю, царю и в. кн. Алексею Михайловичу, — гласило это короткое послание, — бьет челом богомолец твой, в Даурех мученый протопоп Аввакум Петров. Прогневал, грешной, благоутробие твое от болезни сердца неудержанием моим, а иное тебе, свету-государю, и солгали на меня, им же да не вменит Господь во грех! Помилуй, равноапостольный государь-царь, ребятишек ради моих умилосердися ко мне! С великою нужею доволокся до Холмогор; а в Пустозерский острог до Христова Рождества невозможно стало ехать, потому что путь нужной, на оленях ездят. И смущаюся грешник, чтоб ребятишки на пути не примерзли с нужи». Прося позволение остаться в Холмогорах или в каком-нибудь другом, не столь далеко, как Пустозерск, месте, Аввакум заканчивал челобитную горьким воплем измученного страдальца: «И в Даурской земле у меня два сына от нужи умерли. Царь-государь, смилуйся».

В конце ноября один из учеников Аввакума, юродивый Киприан, передал его челобитье государю. Не дремали и московские друзья протопопы. Дьякон Федор подал было челобитную о его освобождении царскому духовнику, но тот не принял ее и Федору «в глаза бросил с яростью великою». Вернее оказался другой путь — через бывшего протопопы Ивана Неронова, теперь старца Григория. Этот путь был еще облегчен тем, что Алексей Михайлович не забыл о ссылке протопопы и, чтобы иметь повод к смягчению его судьбы, «сам приказал старцу Григорию написать маленькую челобитную о свободе» Аввакума. 6 декабря Неронов и подал такую челобит-

ную, в которой, оправдывая своего приятеля, просил не отправлять его в Пустозерск, а позволить поселиться вместе с ним в Игнатьевой пустыне на Саре. Эта просьба не была исполнена, но наказание Аввакуму все-таки уменьшили, отправив его лишь на Мезень, где он жил, пользуясь некоторыми удобствами и не подвергаясь особым стеснениям. Неизвестно, какие именно приказания даны были из Москвы насчет его содержания, но на деле он постоянно обменивался письмами со своими московскими единомышленниками, некоторые из них и приезжали к нему, а один даже жил у него около четырех недель.

В этих сношениях своих с московскими товарищами Аввакум особенно старался поднять ослабевшую в их среде бодрость духа. Сам он скоро оправился от первого впечатления неожиданной ссылки и возвратил себе всю присущую ему энергию, но на многих его единомышленников эта неудача попытки прямой борьбы с церковной иерархией произвела гораздо более подавляющее впечатление. Благодаря ей, у многих из них поколебалась и вообще надежда на успешный исход немедленной борьбы и ослабело стремление к последней; многие даже из тех, которые перед этим сами деятельно вели пропаганду в интересах старой веры, теперь готовы были отступить от открытого столкновения с никонианами, опасаясь его невыгодных последствий и таким образом среди раскольничьей общины в Москве взяла опять перевес партия более умеренных и осторожных людей, не желавших до поры, до времени заявлять о своем существовании. А между тем дело Аввакума вновь обратило внимание властей на ревнителю старины и вызвало усиленное их преследование. По этому поводу среди них началась распря, раздались жалобы на Аввакума, что он только вредит общему делу, дразня еретиков: некоторые, наиболее раздраженные, даже писали и говорили самому протопопу, что лучше было бы ему умереть в Даурии, чем приезжать в Москву. В виду такого настроения товарищей Аввакуму приходилось одновременно и возбуждать в них большую ревность к защите общего дела, и оправдывать свои личные действия, и с этой целью он

отправил в Москву послание «игумену Феоктисту и всей братии».

«Я в Москву приехал прошлого году не самозван, — писал он здесь, — но призван благочестивым царем и привезен по грамотам. Уж то мне так Бог изволил быть у вас на Москве. Не кручиньтесь на меня, Господа ради, что моего ради приезда страждете». Так смиренно по виду приняв обвинения, направленные на него лично, он тем резче выступил против сказавшегося в них малодушия. «Отче, — писал он, обращаясь к Феоктисту, — что ты страшлив? Феоктист, что ты опечалился? Аще не днешь, умрем же всяко. Не малодушествуй: понеже наша брань несть к плоти и крови. А что на тебя дивить? Не видишь, глаза у тебя худы. Рече Господь: ходяй во тме, не весть, камо грядеть. Не забреди, брате, с слепых тех к Никону в горкой Сион! Не сделай беды, да не погибнешь зле! Около Воскресенскова ров велик и глубок выкопан, прознаменя ад: блюдиися, да не ввалишься и многих да не погибиши».

Возбуждая таким образом энергию своих более умеренных товарищей и прямыми увещаниями, и ободрением, и угрозами, что они, заходя чересчур далеко по мирному пути, рискуют впасть в никонианство, протопоп не забывал и непосредственных практических интересов их в положении данной минуты и в этих видах передавал им ряд наставлений, советуя бегать и скрываться от никонианских властей, а сам в свою очередь просил присылать ему сведения о московской жизни.

Об одном только человеке просил он приятелей не сообщать ему ничего, именно о Неронове. Как далеко ни разошелся Аввакум с этим человеком, перед которым он некогда преклонялся, которого считал своим вождем и наставником, но старая дружба, заставившая старца Григория вступить за Аввакума в минуту его беды, не исчезла и из сердца бывшего юрьевецкого протопопа, и чересчур больно было ему слушать брань и хулу на Неронова из уст людей, не стоявших к последнему так близко, как он, в прежние, более счастливые годы. «Про все старцово житье не пиши, не досаждай мне им: не могут мои уши слышати о нем хульных словес ни от ангела. Уж то грех

ради моих в сложении перстов малодушествует. Да исправит его Бог, — надеюсь».

Заботясь о московской общине, о поддержании в ней бодрости и о спасении отдельных ее членов из рук властей, Аввакум не упускал из виду и той милости, в которой ему теперь пришлось побывать. По-прежнему, по всем городам и селам, через которые его провозили, раздавалась его смелая проповедь, всюду он сурово обличал никонианство и учил народ твердо стоять за древнее благочестие. Полтора года провел он таким образом в ссылке, всецело отдавшись деятельности проповедника и организатора раскола, «словесных рыб промышляя», а тем временем над его головой и над головами его единомышленников собиралась последняя, роковая гроза.

V

СОБОР 1666/67

Самое начало церковных исправлений при Никоне ознаменовано было двумя приемами, посредством которых хотели освятить эти исправления, придав им полный и безусловный авторитет православия. Один из таких приемов заключался в созыве соборов русского духовенства для постановлений об исправлении книг и обрядов и наблюдения за ним, другой — в обращении за советами и справками по сомнительным вопросам к православным вселенским патриархам; оба они практиковались одновременно и параллельно, но ни тот, ни другой не предупредили и не обуздали церковных раздоров.

По мере же того, как церковное расстройство все увеличивалось и отношения различных партий все более обострялись и осложнялись, все сильнее ощущалась и нужда в новом, более действительном средстве для устроения церковных неурядков, и такое средство нашли в соединении обоих употреблявшихся ранее приемов, в созыве в Москву собора, но уже не русского только, а вселенского, с участием если не всех, то хоть некоторых вселенских патриархов.

Мысль об этом появилась первоначально в форме предположения об устройстве суда патриархов над Никоном, но вскоре она приняла более широкие размеры, и новому собору задумали передать решение обоих важных дел, волновавших русскую церковь, — как спора между царем и патриархом, так и распри между православными и раскольниками, рассчитывая, что его авторитет будет достаточен для разрешения обоих запутавшихся вопросов и окончательно укажет государственной власти тот путь, которого следует в них держаться.

К 1666 году была выработана и практическая форма осуществления этого плана: в этом году именно созывал-

ся собор русского духовенства, который должен был заняться делом раскольников и решить его, а к следующему году на собор приглашались патриархи александрийский и антиохийский, которым предстояло разобрать дело Никона и вместе произнести окончательный приговор по поводу раскольниковского движения. Этим путем перед теми из ревнителей старины, которые отвергли уже авторитет русской иерархии и отдельных патриархов, ставился авторитет всей современной им вселенской церкви, грозивший им конечным осуждением.

В феврале 1666 года открылись заседания собора, и к этому времени из разных мест привезли в Москву находившихся в заточении или ссылке раскольников; 1 марта привезен был сюда и Аввакум с двумя сыновьями, Иваном и Прокопием, тогда как остальная его семья была оставлена в Мезени. Теперь, перед лицом последнего, решительного испытания, долженствовавшего окончательно определить судьбу как всего движения, так и отдельных его представителей, раскольники явно распались на две группы.

Одни из них, проникнутые лишь сомнением относительно реформ Никона, не предрешали бесповоротно вопроса об их неправоверии и готовы были пойти на убеждение, выслушать и оценить, более или менее спокойно и беспристрастно, доводы защитников церковной реформы. К ним примыкали такие люди, убеждения которых были гораздо прочнее обоснованы в их теоретическом сознании, но которые отступали перед последовательным проведением этих убеждений на практике из чувства страха, вытекало ли последнее из смутно чувствовавшегося еще уважения к авторитету вселенских патриархов, или сводилось оно на боязнь перед мерами светской власти. Соответственно этому люди данной группы и вели себя перед собором: они или искали убеждения, или, по крайней мере, поддавались ему. Так, епископ вятский Александр, раньше восстававший против реформ Никона, обратился к членам собора за разъяснением своих сомнений и, получив доказательства правоверности изменений, произведенных в церковных книгах и обрядах, убедился ими и «стал поборать не по мятежницех, но по истине». Так,

«предста волею пред собор» иеромонах Сергей, числившийся до того в рядах раскольников, и подал покаянное писание, свидетельствуя о перемене своего взгляда на исправленные книги: «ныне уверихся — говорил он, — добрым уверением от древних рукописных славянских святых книг, паче же греческих». Равным образом и некоторые другие из раскольников перед лицом собора отступились от своих убеждений, иные искренно, иные лишь по наружности.

Но рядом с этими поколебавшимися людьми стояли и другие, твердо решившиеся вести дело до конца, слишком фанатически преданные ему, чтобы можно было думать о воздействии на них путем убеждения, и слишком крепкие духом, чтобы отступить перед грозившею опасностью. Последовательно проводя основной принцип своей деятельности, заключающийся в сохранении русского правоверия, которое противопоставлялось всякому другому, эти люди не отступали перед отрицанием авторитета вселенских патриархов, в их глазах имевшего крайне сомнительную ценность. При этом, будучи вполне уверены в правоте своих идей, они не видели никакого среднего пути между полной их победой и решительным поражением и, не надеясь уже в данное время на первую, заранее готовились к мученичеству. На этой группе сосредоточивался весь жгучий интерес настоящей минуты, на нее обращена была вся ненависть врагов раскола и все симпатии его явных и тайных сторонников. Среди самой же этой группы наиболее видным лицом являлся Аввакум, занявший положение ее главного вождя.

По привозе Аввакума в Москву церковные власти попытались было склонить и его путем увещаний к примирению с церковью, но эта попытка не имела никаких результатов и вслед затем протопоп был отвезен в Пафнутьев монастырь, верст за 90 от столицы, и отдан там под начало. Время от времени сюда приезжали от собора духовные лица уговаривать Аввакума смириться и принести покаяние в своих заблуждениях. Но даже среди самих этих увещателей находились порою люди, втайне разделявшие его взгляды и видевшие в нем мученика за истину, подражать которому они сами отказывались лишь

по недостатку нравственной силы. Присланный от собора к Аввакуму ярославский дьякон Козьма перед людьми уговаривал его покориться, а наедине увещевал мужественно стоять за свои убеждения. «Протопоп! — говорил он в этих тайных беседах, — не отступай ты от старого того благочестия! Велик ты будешь у Христа человек, как до конца претерпишь! Не гляди на нас, что погибаем мы!»

Аввакум, впрочем, и не нуждался в этих сочувственных советах и наставлениях, чтобы остаться верным своим взглядам. Все уговоры присоединиться к «никонианам» не производили на него никакого действия, на все доказательства несправедливости его мнений относительно порчи церковных книг и обрядов он отвечает упорными возражениями и бранью, и таким образом десять недель прошло в безуспешных попытках смирить непокорного протопопа путем словесных увещаний и монастырского начала, пока, наконец, власти не отчаялись в возможности прийти к какому-нибудь соглашению с ним. Его привезли обратно в Москву и 13 мая поставили на суд собора. Но и тут он, говоря словами официального акта, «покаяния и повинования не принес, а во всем упорствовал, еще же и священный собор укорял и неправославными называл».

Тогда собор постановил лишить его сана, и это решение было исполнено в тот же день: в соборной церкви Аввакум, вместе с дьяконом Федором, был расстрижен и предан проклятию, как еретик. И теперь еще он нашел себе защитников, даже в самой царской семье: царица Марья Ильинична пыталась отстоять его от предстоящего унижения и по этому поводу было у нее «великое нестроение» с Алексеем Михайловичем, который не находил более возможным вступаться за протопопа. Однако окончательное решение судьбы Аввакума, равно как и других вождей раскола, было отложено до приезда патриархов, а пока постановили опять заключить его в монастырь. На этот раз местом такого заключения избран был Угрешский монастырь св. Николая, куда уже 15 мая и отправили Аввакума под конвоем стрельцов. При этом, опасаясь проявлений симпатий со стороны народа к расстриженному

протопопу, его везли ночью и не прямой дорогой, а в объезд — «болотами да грязью».

Опасения эти были не лишены основания. Не говоря о том, что и в самой Москве, и в ее окрестностях в это время было уже много явных и тайных раскольников, видевших в Аввакуме своего главного вождя, могучая фигура стойкого страдальца привлекала к себе порою сочувственное внимание даже лиц, не разделявших тех взглядов, за которые он выносил страдания. И среди начавшейся уже борьбы далеко не всем еще в обществе были ясны не только конечные ее результаты, но и глубокое различие борющихся партий. В виду этого обстоятельства и люди, вполне искренно и сознательно ставшие на сторону Никоновских реформ, могли, однако, находить у себя много общих точек соприкосновения с заклятым врагом Никона, Аввакумом, и видеть в последнем многие родственные себе черты. С другой стороны, многие из тех, которые ступили на путь реформ, толкаемые силою внешних условий, далеко не огляделись еще в новом своем положении и не разорвали всецело с прежним мирозерцанием, не отказались от многих входивших в его состав взглядов, ярким представителем которых являлся Аввакум. При такой неустойчивости и неопределенности общественного настроения, при том условии, что резкое разделение на партии только еще начинало приобретать себе общее признание, популярность Аввакума, покоившаяся как на мужественном перенесении им гонений, так и на его нравственных качествах и строгой жизни, распространялась на обе партии, и ее не уничтожил и не замкнул в более определенные границы даже последний решительный шаг церковной иерархии по отношению к нему.

Благодаря этой популярности, не успели привезти расстриженного протопопа в Угрешский монастырь, как следом за ним направились туда многочисленные посетители. Сам царь приезжал в обитель и ему уже «дорогу было приготовили, насыпали песку», но он не решился зайти к Аввакуму, а только «около темницы походил и, постовав, опять пошел из монастыря». Посетили последний и некоторые бояре, но их не допускали к заклю-

ченному. Постепенно, однако, строгость надзора за ним начала ослабевать, и если непосредственный доступ в его темницу по-прежнему оставался закрытым, то проникавшие в монастырь богомольцы получили, по крайней мере, возможность издали видеть Аввакума и даже беседовать с ним через окно тюрьмы.

Этим воспользовались, между прочим, оставшиеся в Москве родственники протопопа. Два его сына, Иван и Прокопий, захватив с собою своего двоюродного брата, Макара, под видом обыкновенных богомольцев пришли 7 июля в Угрешский монастырь и ранним утром, когда большинство населения обители еще спало, успели побеседовать с отцом. Не замедлили вскоре сказаться и плоды установившихся таким образом сношений с Аввакумом: со слов последнего стали циркулировать слухи, будто ему в тюрьме явился сам Христос с Богородицей и увещевал не бояться гонений за правое дело. Когда эти слухи, постепенно распространяясь, дошли до московских властей, они вызвали среди последних немалый переполох и смущение. Сыновья Аввакума были немедленно арестованы и после того, как на допросе подтвердился факт посещения ими Угрешского монастыря и беседы с отцом, были отосланы 10 августа в Покровский монастырь с приказанием «держатъ их в монастырских трудах под надзором». Легче отделался их двоюродный брат, оставленный на свободе, благодаря тому обстоятельству, что несколько москвичей дали по отцу его, Кузьме, и по нему самому поручную запись. Впрочем, и сыновья Аввакума не долго оставались в заключении, так как факт распространения именно от них слухов о видении протопопа не был установлен на следствии, а все остальное даже в глазах подозрительно настроенного по отношению к ним московского правительства не могло составить особого преступления. Уже через три недели они просили об освобождении «для всемирной радости рождения государя благоверного царевича Ивана Алексеевича» и 4 сентября, действительно, были выпущены на свободу с порукою, «что им ложных снов отца своего Аввакума никому не рассказывать», являться по первому требованию в патриарший приказ и никуда из Москвы не уезжать.

Это следствие не прошло безрезультатно и для самого Аввакума, вызвав новую перемену в его судьбе. Из Угрешского монастыря власти решили перевести его в более отдаленное место и пресечь ему возможность сношений с его поклонниками и пропаганды своих учений. С этой целью он уже 3 сентября отправлен был из Угреши опять в Пафнутьев Боровской монастырь, а игумену последнего послана была инструкция, заключающая в себе следующие приказания: «вы б его, Аввакума, приняли и велели посадить в тюрьму и приказали его беречь накрепко с великим опасением, чтобы он с тюрьмы не ушел и дурна никакова бы над собою не учинил, и чернил и бумаги ему не давать, и никого к нему пускать не велеть».

Первое время инструкция эта, действительно, исполнялась во всей своей строгости, и монастырские власти в своем рвении дошли даже до того, что забили двери и окна темницы Аввакума. К счастью, — вспоминал он впоследствии, — нашелся «добрый человек, дворянин друг, Иваном зовут, Богданович Камынин, вкладчик в монастырь, и ко мне зашел, да на келаря покричал и лубье и все без указа разломал, так мне с тех пор окошко стало и отдух». Но после того суровость монахов к Аввакуму еще не исчезла, и даже в первый день Пасхи ему не позволили выйти и посидеть на пороге своей кельи. Впрочем, этого рвения хватило лишь на несколько месяцев. Среди монахов Пафнутьевского монастыря, как и в других кругах тогдашнего общества, не было прочной уверенности в неправоте Аввакума. Такую уверенность сообщали им лишь приказания высших и церковных властей, но она, не будучи основана на прочном внутреннем убеждении, не могла успешно выдержать столкновения с убежденной проповедью и стойким мужеством протопопа. Последний в сознании монахов постепенно обращался из послушника царской воли в мученика, терпящего за правду, и по мере того, как делало успехи такое представление, в монастыре нарастало сочувствие к Аввакуму и раскаяние в его притеснениях, тем более жгучее, что с ним, по понятиям века, почти неизбежно соединялось ожидание наказания за мучение праведника. Раз назревши, это настроение не замедлило проявиться и наружу, окруженное тем

ореолом чудесного, который сопровождал в то время самые обыденные события человеческой жизни и тем более охотно соединялся со всякого рода нравственными потрясениями.

Случилось одному из наиболее усердных притеснителей Аввакума, в первое время, келарю Никодиму, заболеть, а затем увидеть сон, будто Аввакум исцелил его. Проснувшись и почувствовав себя, действительно, лучше, он немедленно отправился в темницу Аввакума, покался перед ним и, объявив, что он познал истину Аввакумова учения, просил совета, жить ли ему по-прежнему в монастыре, или покинуть последний и уйти в пустыню. Аввакум не велел ему оставлять монастыря под тем условием, чтобы он, хотя в тайне, «держал старое предание отеческое», и вместе запретил рассказывать про бывшее ему видение. Последнего приказания Никодим, однако, не соблюл и с тех пор характер содержания Аввакума существенно изменился: не только он не испытывал более притеснений от монахов, но и доступ к нему сделался свободным. Из окрестностей сходились к нему люди за наставлениями и поучением; бывшие его ученики также не раз приходили и приезжали в монастырь, ища указания и советов у своего учителя в тяжелую годину борьбы. В числе других пришел к нему и юродивый Федор, бежавший из Рязани, куда он был отдан под начало архиепископу Иллариону, и просил совета: отдаться ли ему опять в руки никониан, или скрываться и прекратить свой подвиг юродства, который мог обратить на него внимание. Аввакум посоветовал ему последнее.

Не долго, впрочем, пришлось заточенному протопопу пользоваться этой сравнительной свободой. Восточные патриархи приехали уже в Москву и близок был тот день, когда он должен был стать на их суд вместе с другими ревнителями старины, подобно ему отказавшимися подчиниться русской церковной иерархии. 30-го апреля 1667 года его, действительно, вывезли из Пафнутьева монастыря в Москву. Но еще два с половиной месяца прошли с момента привоза его в столицу до появления на соборе, и за этот промежуток времени духовные власти истожили последние усилия в попытках склонить его

к признанию церковных реформ. Все эти попытки остались бесполезными, встретив резкий отпор со стороны Аввакума, и в результате их выяснилась только полная невозможность соглашения между спорившими партиями. С особенною рельефностью обнаружился этот результат на самом соборе, когда духовенство, отказавшись от бесплодных попыток смирить Аввакума путем всех своих увещаний, решилось поставить его пред вселенскими патриархами. 17 июля он приведен был на заседание собора, и патриархи в свою очередь долго, но тщетно, пытались убедить его в правоте Никоновских изменений. «Наконец, — рассказывает сам Аввакум, — последнее слово ко мне рекли: «что-де ты упрям? Вся-де наша Палестина, и Серби, и Албанасы, и Волохи, и Римляне, и Ляхи, все-де трема персты крестятся, один-де ты стоишь в своем упорстве и крестишься пятью персты! — так не подобает!» И я им о Христе отвещал сие: Вселенский учителю! Рим давно упал и лежит невосклонно, и Ляхи с ним же погибли, до конца враги быша христианом. А и у вас православие пестро стало от насилия турецкого Махмета, — да и дивить на вас нельзя: немощни есте стали. И впредь приезжайте к нам учитца: у нас, Божиею благодатию, самодержество. До Никона отступника в нашей России у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно и церковь немятежна».

Ярко и полно сказалось в этом ответе воззрение, которое еще так недавно решительно господствовало в жизни московского общества и в силу которого Москва ставилась единственным образцом правильного церковного и гражданского устройства. Не ей, успевшей сохранить у себя и православие, и внешнюю независимость, предстояло у кого-нибудь учиться; к ней должны были обращаться за поучением народы, и в том числе, прежде всего те, которые еще называли себя православными. При такой постановке вопроса и самый спор об обрядах, независимо даже от той важности, какая непосредственно приписывалась им в сознании современников, приобретал новое и громадное значение, и об уступках, о добровольном подчинении со стороны ревнителей старины не могло быть и речи. Если такие уступки еще возможны

были до некоторой степени при первых деятелях раскола, когда личные интересы и мелкие вопросы церковной практики в значительной мере заслоняли собою главные различия сторон, то теперь, когда создавшаяся и укоренившаяся в годы гонений крайняя фракция раскола с Аввакумом во главе выдвинула на первый план именно принципиальную сторону вопроса и тем подчеркнула основное противоречие в воззрениях партий, никаких уступок с ее стороны не могло быть более сделано. С беспощадной последовательностью развивая до последних крайностей положения, общие у них с первыми вождями движения, члены этой фракции и в теории, и на практике решительно отвергали всякий авторитет, посторонний русской старине, и самый суд вселенских патриархов, так сильно смущавший их предшественников, у них вызывал только ироническое отношение к себе.

Аввакум, устав стоять перед увещевавшим его собором, отошел к дверям и лег на пол со словами: «посидите вы, а я полежу». Русские духовные стали смеяться и корить его: «Дурак протопоп! И Патриархов не почитает!» Эти насмешки не произвели, однако, на него никакого впечатления и вызвали с его стороны только смиренный по внешности, но в сущности проникнутый глубокою самоуверенностью и иронией ответ: «Мы уроды Христа ради, — говорил протопоп, — вы славны, мы же бесчестны! Вы сильны, мы же немощны!» Об эту броню фанатизма разбивались все увещания и убеждения, и Аввакум без всякого результата был отпущен с собора и отдан опять под стражу. Точно так же непоколебимыми в своих убеждениях остались и его единомышленники, вместе с ним призванные на суд собора: протопоп Никифор, поп Лазарь, дьякон Федор и чернец Епифаний.

Еще несколько времени держали их под стражей то в самой Москве, то в ее окрестностях, то в Угрешском монастыре, продолжая в то же время убеждать смириться и признать власть патриархов и собора. Наконец, 5 августа в места заключения Аввакума, Лазаря и Епифания явились, посланные от царя и собора, архимандриты — владимирский Филарет, хутынский Иосиф и ярославский Сергей, для снятия окончательного допроса с

узников. Последним предложены были три вопроса, ответ на которые должен был окончательно определить их отношение к церкви и представлявшей ее духовной и светской иерархии. Вопросы эти заключались в следующем: православна ли русская церковь, православен ли государь Алексей Михайлович и православны ли вселенские патриархи? В ответ на них Аввакум сказал: «Церковь православна, а догматы церковные от Никона еретика, бывшего патриарха, искажены новоизданными книгами, — первым книгам бывшим при пяти бывших патриархах, во всем противны, в вечерни, и в заутрени, и в литургии, и во всей божественной службе не согласуют. А государь наш Алексей Михайлович православен, но токмо простою своею душою принял от Никона, мнимого пастыря, внутреннего волка, книги, чая их православны, не рассматривая плевел еретических в книгах внешних ради браней, понял тому веры и впредь чаю по писанному: праведник аще падет не разбьется, яко Господь подкрепляет руку его. А про патриархов слышал я от братий духовных, что у них в три погружения не крестятся, но обливаются по римски, и крестов на себе не носят, и в сложении перст знаменующеся, слагая три персты, и Христово вочеловечение отмежут, и сие есть все не православно, но противно святой соборной и апостольской церкви».

Приблизительно такие же ответы дали на допросе и сотоварищи Аввакума по заключению. Получив их, патриархи и собор подтвердили проклятие, возложенное на раскольников в предшествовавшем году, с оговоркой, что «та клятва и проклятие возводится ныне точию на Аввакума, бывшего протопопа, и на Лазаря попа, и Никифора чернеца Соловецкого, и на Федора дьякона и на прочих единомышленников и единомудренников и советников их, дондеже пробудут в упрямстве и непокорении». После того, как учение их подверглось таким образом бесповоротному осуждению, оставалось решить судьбу его проповедников, и это решение должно было в равной мере зависеть как от духовной, так и от светской власти, одинаково теперь враждебных раскольникам.

Мы видели, однако, что Аввакум в своем ответе на вопросы, предложенные ему от имени царя и собора,

неодинаково повел себя по отношению к представителям духовной и светской иерархии. Самым решительным образом осуждая Никона и всю последовавшую за ним русскую иерархию, с некоторой — весьма слабой, впрочем, — условностью распространяя это осуждение и на восточных патриархов и их церкви, он только по отношению к Алексею Михайловичу изменял свой тон. Грех царя, по его мнению, невольный и бессознательный и подлежит еще полному исправлению и забвению: «праведник, аще и падет, не разбьется». Такая исключительная мягкость могла бы даже дать повод заподозрить Аввакума в искательстве у царя, если бы для нее не находилось другого объяснения, — в поведении самого Алексея Михайловича. Это поведение тем более любопытно, что в нем отразились не только личные черты характера царя, но и настроение известной части московского общества, очутившегося на распутье двух дорог.

Алексей Михайлович упорно и настойчиво старался примирить Аввакума с церковью и с этой целью постоянно засылал к нему разных лиц для уговоров. И после того, как надежда на такое примирение становилась все более призрачной, он не изменил своих личных отношений к бывшему протопопу, и царские посланные постоянно просили у последнего благословения царю и молитв за него. Даже тогда, когда судьба Аввакума представлялась уже почти окончательно решенной, царь еще прислал к нему сказать: «Где ты ни будешь, не забывай нас в молитвах своих». Такое отношение и обнадеживало в значительной мере Аввакума, порождая в нем мысль, что царь от сочувствия к его личности может перейти к сочувствию его учению, и подобные ожидания вызвали в нем самом более мягкое отношение к царю, чем к кому бы то ни было другому из лагеря никониан. Но в этих ожиданиях в свою очередь было не мало субъективного, обращавшего их в неисполнимые мечты. Алексей Михайлович любил Аввакума, как человека, стоявшего с ним некогда в близких отношениях, чтил в нем строгого ревнителя и подвижника благочестия, высоко ценил его нравственную стойкость, но не разделял его мнений по поводу церковной реформы и был твердо убежден в их

несправедливости. Вместе с тем, однако, он не видел в этих мнениях и той важности, какую им приписывали Аввакум и его товарищи.

Для царя, без всякой внутренней борьбы соединившего в своей личной жизни московское мировоззрение со многими подробностями иноземной культурной обстановки, до некоторой степени против воли втянутого в борьбу церковных партий, оставалось непонятным фанатическое упорство бывшего юрьевецкого протопопа, и он до последней минуты продолжал питать надежду на то, что как-нибудь удастся склонить Аввакума к уступкам и покончить миром возникший в церкви разлад, — надежду, которую разделяли с ним многие люди, еще сохранявшие более примирительное настроение и видевшие исход в компромиссе между двумя резко обозначившимися направлениями. И после того, как собор произнес уже свое вторичное осуждение над Аввакумом, Алексей Михайлович посылал еще к последнему разных лиц с тем, чтобы они увещаниями и угрозами склонили его покориться патриархам.

С такими поручениями отправлены были к нему, между прочим, Артамон Матвеев и Симеон Полоцкий, но они, как и все другие, не имели никакого успеха. Увещания переходили в ожесточенный спор; с Полоцким у Аввакума, говоря его словами, «зело было стязание много: разошлись, яко пьяни, не мог и поесть после крику». Споры эти оставались, однако, совершенно бесплодными, так как противники стояли на совершенно различной почве и не могли понять друг друга. «Острота, острота телесного ума!» — говорил Полоцкий Аввакуму. — «Да лихо упрямство; а се не умеет науки». Но именно эту-то науку, в незнании которой киевский монах упрекал юрьевского протопопа, последний и отрицал. Еще менее действовали на него, видевшего мученический подвиг в своей настойчивости, угрозы, какие употреблял Матвеев. «Не грози мне смертью, — возражал он последнему, — не боюсь телесной смерти, но разве греховной». Наученный опытом, не поддавался он и на лстивые обещания, на ласку. «Ты ищешь, — говорил он тому же Матвееву, — в словопрении высокие науки, а я прошу у Христа моего по-

клонами и слезами: и мне кое общение, яко свету со тьмою или Христу с Велиаром?» И смутившийся Матвеев не нашелся ничего ответить на это, кроме того, что «нам с тобою не сообщно».

И, действительно, именно «общения», общей почвы, на которой возможно было бы соглашение между разошедшимися людьми, не оказывалось более на лицо. «Пропасть велика между нами и вами утвердилась, — писал незадолго до этого Спиридон Потемкин одному вернувшемуся к церкви раскольнику, — яко да хотящие преити отсюда к вам не возмогут, ниже оттуда к нам приходят». По мере того, как сознание этой пропасти, благодаря резкой постановке вопроса со стороны раскольников, становилось все ярче, люди компромисса, сознательно или бессознательно примирявшие два крайние направления, отступали на задний план, в свою очередь и с другой стороны очищая место представителям крайней партии. Сам царь, так долго колебавшийся, должен был теперь примкнуть к этой последней и руководствоваться ее советами в деле раскольников. Сущность же этих советов легко было предвидеть. Обрядовая сторона и для противников раскольников сохраняла чрезвычайную важность, при которой отступление от правильности обряда равнялось ереси, отношение же к еретикам определялось как предшествовавшей практикой церкви, так и господствовавшими в обществе взглядами и нравами. Собор, действительно, и провозгласил раскольников еретиками и, не довольствуясь их проклятием, объявил, что «подобает их наказывать и градскими казнями». Эти казни не заставили себя ожидать: Лазарю и Епифанию были отрезаны языки, Аввакума царица отпросила от этой кары, но он, вместе с изувеченными товарищами своими и дьяконом Федором, был сослан в Пустозерск.

VI

ЖИЗНЬ В ПУСТОЗЕРСКЕ. ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВВАКУМА. КАЗНЬ ЕГО

В последних числах августа 1667 года Аввакум и его товарищи по заточению были вывезены из Москвы и отправлены в Пустозерск. Применяя к осужденным вождям раскола эту меру как наказание за их неповиновение, правительство вместе с тем рассчитывало посредством ее ослабить все движение, лишив его участников непосредственной связи и возможности сношений с главными его представителями. На деле, однако, эти последние расчеты не оправдались.

Как ни велико было расстояние, отделявшее Москву от Пустозерска, как ни строго стерегли в последнем присланных сюда узников, ссылка не подорвала их влияния и не отняла у них возможности вступить в сношения с оставшимися в Москве и других городах учениками и последователями. Такие сношения завязались очень скоро по прибытии ссыльных в Пустозерск, и эти люди, заключенные теперь в дальнем углу Московского государства, на первых же порах своего заключения явились не менее деятельными защитниками и пропагандистами раскола, чем и раньше, когда они находились в центре страны. Только теперь их деятельность на этой почве в силу обстоятельств была сведена к чисто литературной пропаганде: дьякон Федор сообщая с Аввакумом для поучения лиц, примкнувших к расколу, составил обличение никонианства; Лазарь написал два послания, одно к царю, другое к патриарху; наконец, Аввакум тоже изготовил два послания, оба адресованные Алексею Михайловичу, — и все это неведомые руки таинственными путями перевезли в Москву и доставили по назначению. Одно, по

всей вероятности, второе из этих посланий Аввакума, написанное в 1669 году, дошло до нас и дает возможность судить о том впечатлении, какое произвела на протопопа понесенная им кара.

По выражению Аввакума, он в этом послании «последнее плачевное моление приносит царю из темницы, яко из гроба», прося его «обратиться в прежнее его благочестие». «Что есть ересь наша, — спрашивал он, — или кий раскол внесохом мы в церковь, якоже блядославят о нас никонианы?.. Не вемы ни следу в себе ересей коих, ниже раскольства». Доказывая свою правоту в смысле сохранения правоверия и осуждая «богоотметника» Никона и греческую церковь, в которой «изсяче благочестие по пророчеству святых», Аввакум вместе с тем решительно отказывался иметь впредь дело с церковной иерархией и даже не винил ее особенно в происшедшем, перенося всю ответственность за осуждение и преследование ревнителю старины на царя. «Ты самодержче, — говорил он, — суд подымеши о сих всех, иже таково дерзновение им (никонианам) подавый на ны». «Несть бо уже нам к ним ни едино слово, — повторял он в другом месте своего послания. — Все в тебе, царю, дело затворися и о тебе едином стоит». Исключительно к царю обращался он поэтому с увещаниями и убеждениями, то отстаивая правоту своих воззрений, то приводя в связь состоявшееся отступление от древнего русского православия с бедствиями, понесенными с того времени русской землей, то угрожая страшным Христовым судом. «Там, — обращался он к царю, — будет и тебе тошно, да не пособишь себе ни мало. Здесь ты нам праведного суда со отступниками не дал: и ты тамо отвещати будеши сам всем нам».

Суровый, фанатический тон этих увещаний лишь отчасти смягчался привычным любовным отношением к личности Алексея Михайловича, и теперь еще по временам пробивавшимся у сосланного протопопа. Угрожая царю в случае его упорства вечною гибелью, Аввакум тут же, однако, прибавлял: «прости, Михайлович-свет, даже бы тебе ведомом было, да никак не лгу, ниже притворяясь тебе говорю. В темнице мне, яко во гробе, сидящу, что надобно, разве смерть? Ей, тако».

Горько и язвительно упрекая Алексея Михайловича за вновь принятые меры против раскола, выразившиеся в лишении умерших раскольников церковного погребения, Аввакум и тут, однако, не проявлял так свойственного ему яростного раздражения. «Ты царствуй, — замечал он только, — многие лета, а я мучуся многие лета: и пойдем вместе в дома своя вечные, егда Бог изволит. Ну, да хотя, государь, меня и собакам приказал выкинуть, да еще благословлю тебя благословением последним». Но личное чувство, связывавшее Аввакума с царем Алексеем, теперь смягчало лишь тон речи проповедника, не влияя на сущность его мысли. Если раньше Аввакум отделял царя от церковной иерархии, видя в нем только невольную жертву Никонова лукавства, а не активного и сознательного деятеля реформы, то теперь горький опыт уничтожил такое различие в его представлении и вместе с тем, согласно его общему взгляду на роль царя относительно церкви, на царя в его глазах слагалась и наибольшая доля ответственности, он являлся если не главной причиной уклонения русской церкви в ересь, то, по крайней мере, главным условием успеха этой ереси и гонения на благочестивых. При таких условиях лишь весьма слабая надежда на обращение царя оставалась в душе протопопа. «Нет, государь, — проговаривался он, — больше покинуть плакать о тебе: вижу, не исцелить тебя».

Пустозерские узники, таким образом, не молчали, не оставались в бездействии, к какому их желали принудить. Ссылка не сломила их силы, как не порвала их сношений с последователями их учения. Она не заставила их отказаться ни от пропаганды своих мнений, ни от обличения никонианских властей, даже непосредственно обращенного к последним и принявшего еще более решительный характер, чем прежде, так как теперь оно с равной энергией обращалось и на светскую власть, раньше ими не затрагивавшуюся.

Ответ со стороны последней не заставил себя ждать: из Москвы последовали новые репрессии над раскольниками, новые, по выражению Аввакума, «гостинцы» им. Гроза разразилась прежде всего над семьей Аввакума, жившей в Мезени. Кроме Настасьи Марковны с тремя

младшими детьми, оставшейся здесь со времени отвоза мужа в Москву на собор, здесь жили и два старшие сына Аввакума, вернувшиеся сюда из столицы после ссылки отца; сверх того, вокруг этой семьи ютились еще некоторые из бывших учеников и домочадцев протопопа, вместе с нею укрывавшиеся от гонения. Сюда-то и был отправлен из Москвы в качестве следователя и судьи полуголова Иван Елагин, ознаменовавший свое появление на Мезени самыми крутыми и беспощадными мерами. Два человека из домочадцев Настасьи Марковны, открыто исповедавшие свою принадлежность к расколу, в том числе юродивый Федор, были повешены. Та же участь грозила и старшим сыновьям Аввакума, но они не унаследовали непреклонной энергии отца и перед лицом смерти вторично отречлись от его учения. Это отречение, впрочем, спасло им лишь жизнь, но не свободу: вместе с матерью их посадили в земляную тюрьму. Только младший их брат, Афанасий, вместе с сестрами, Марией и Акулиной, остался на свободе, несмотря на то, что он не уподобился братьям и открыто объявлял себя ревностным последователем отца: должно быть, его сочли слишком еще малолетним и потому не опасным. С Мезени проехал Елагин и в Пустозерск, привезя с собою суровые наказания относительно здешних узников. После допроса, на котором они остались непреклонными в своих убеждениях, решительно отказываясь от общения с церковной иерархией и проклиная «еретическое соборище», им объявлен был приказ московского правительства, которым повелевалось Лазарю, Епифанию и Федору отрубить правые руки и вырезать языки, а Аввакума, не подвергая такой казни, посадить в земляную тюрьму и давать ему только хлеб да воду. Это новое исключение в пользу Аввакума, явившееся, конечно, не без участия его доброжелателей при московском дворе, так раздражило его, что он хотел было уморить себя голодом, и только убеждения и просьбы товарищей по заключению отклонили его от такого намерения.

После совершения назначенной казни над товарищами Аввакума все узники были переведены в новую, специально для них подготовленную тюрьму: в земле устроен

был сруб, собственно и представлявший из себя темницу и окруженный снаружи другим срубом, выход из которого оберегался стражей. Узники сидели отдельно друг от друга и только по ночам, тайно вылезая во внешнюю ограду, могли видетсья и беседовать. Более тяжелого, более жестокого заключения, казалось, нельзя было ни создать, ни даже представить себе. Удаленные на громадное расстояние от родины, отрезанные от всего внешнего мира, навеки запертые в четырех стенах своей засыпанной землею темницы, из которой они не могли сделать шагу даже для удовлетворения необходимых естественных потребностей, узники осуждены были отныне томиться как бы в могиле, и недаром Аввакум с этих пор начинает называть себя «живым мертвецом». Но в этом заживо похороненном человеке жизненный пульс бился еще с лихорадочной быстротой и энергией, мысль еще работала с неослабевающим жаром.

И в эту тяжелую эпоху молитва и ревностное исполнение религиозных обязанностей составляли главное утешение Аввакума. В своей пустозерской тюрьме он оставался все тем же строго благочестивым человеком, истощавшим свою плоть в подвигах сурового поста и молитвенного энтузиазма. Не довольствуясь теми лишениями, какими сопровождалось тюремное заключение, он сам создавал себе еще новые, нещадно терзая себя. Переведенный в земляную тюрьму, он здесь сбросил с себя все платье, даже рубашку, и остался совершенно нагим; вместе с тем он продолжал неуклонно соблюдать весь ритуал ежедневной молитвы, нередко выстаивая на ней до полного изнеможения и потери всех сил.

Один эпизод из упомянутого выше послания Аввакума ярко обрисовывает эту сторону его жизни. В великом посту заточенный протопоп, как рассказывает он сам, по своему обыкновению, в течение всей первой недели не принимал никакой пищи; тот же суровый пост продолжал он и во вторую неделю и в половине ее ослабел уже до такой степени, что не мог вслух молиться, а только про себя повторял псалмы. Тогда с ним, по его убеждению, произошло чудо: «распространился язык мой и быстро велик зело, потом и зубы быша велики, а се и руки

и ноги быша велики, потом весь широк и пространен под небесем и по всей земли распространился; а потом Бог вместил в меня небо, и землю, и всю тварь. Мне же молитвы непрестанно творящу и лествицу перебирающую в то время. И бысть того времени на полчала и больши. И потом воставшу ми от одра легко и поклонихся до земли Господеви». Эти болезненные, но преисполненные неизъяснимого и жгучего наслаждения припадки, вызываемые высшею степенью религиозного экстаза и знакомые всякому, кто следил за жизнью мистиков и религиозных энтузиастов, — припадки, во время которых человек утрачивает сознание своего самостоятельного существования и как бы сливается с мировым бытием, заставляли Аввакума не только забывать все ужасы тюремной обстановки, но даже дорожить ими, как средством к достижению моментов неземного блаженства. «Ты владеши, — обращался он к царю, рассказав приведенный эпизод, — на свободе живучи, одною русскою землею; а мне Сын Божий покорил за теничное сидение небо и землю».

Но не одной молитвой и аскетическими упражнениями был наполнен и теперь день ссыльного протопопа, не одни порывы религиозного экстаза прерывали на редкие моменты монотонную по внешнему виду жизнь его в земляной тюрьме Пустозерска. Его личность и здесь настолько импонировала окружающим, что самая стража, к нему приставленная, прониклась уважением к нему, и благодаря этому он внутри своей тюрьмы пользовался сравнительной свободой и мог заняться литературной деятельностью, для которой раньше находил мало досуга среди своей кипучей и многострадальной жизни. С другой стороны, многочисленные последователи раскола не жалели ни средств, ни усилий для того, чтобы завести сношения со своими заточенными собратьями и учителями и, по возможности, облегчить их участь. Находились такие смельчаки и ревнители веры, которые, рискуя собственной свободой и жизнью, странствовали по тюрьмам, разнося утешение и материальную поддержку сидевшим в них раскольникам; других за большие деньги нанимали доставить письмо или посылку одному из узников. При этом преимущественное внимание расколь-

ников было обращено на Пустозерск, где находились в заточении главнейшие подвижники и столпы всей партии, и сюда особенно часто являлись такие посланцы. В свою очередь, тюремная стража, то из уважения к великому подвигу страдальцев, возбуждавшему в ней невольное сочувствие и сомнение в правоте их гонителей, то соблазненная щедрым подкупом, содействовала передаче писем и посылок, открывая доступ в темницу для принесших их лиц, и, таким образом, установились сношения между Аввакумом и его учениками и почитателями, — сношения, определившие собою характер последующих лет его жизни.

Убогая земляная келья в Пустозерской тюрьме, где страдал и томился нагой человек, приобрела характер умственного центра широкого народного движения, громадной волной прошедшего по всей русской земле. Сюда, в эту келью, стекались все известия, относившиеся к судьбе раскола, и находили себе отзвук в проповедях ее обитателя, то торжествующих, то гневных, но всегда исполненных глубокого убеждения и страстного энтузиазма. Сюда обращались за советом и поучением в делах веры, здесь искали наставления в самых разнообразных вопросах житейской практики, отсюда ждали утешения и ободрения, и в ответ на эти многообразные запросы, приходившие из разных мест России, отсюда шли послания, проникнутые нежною любовью и яростной злобой, заключавшие в себе защиту и утешение раскольников и резкое обличение никонианства, содержавшие практические указания и распоряжения насчет судьбы раскольничьих общин и отдельных их членов.

Особенно деятельные сношения поддерживал Аввакум с тремя местностями — Москвой, где сосредоточилось значительное количество раскольников, более или менее успешно укрывавшихся от преследований правительства, — Мезенью, где жила его семья, — и Боровским, куда с 1673 года сослана была боярыня Морозова вместе с сестрой своей, княгиней Урусовой. Послания Пустозерского узника, часто писавшиеся им за недостатком бумаги на маленьких клочках, тщательно переписывались его поклонниками и рассылались в другие места, служа могу-

чим орудием раскольничьей пропаганды. Благодаря обширному досугу Аввакума и сильному запросу на его произведения, его литературная деятельность приняла весьма значительные размеры. За 14 лет пребывания в Пустозерске им было написано большое количество разного рода произведений, из которых до нас дошла его автобиография или «Житие протопопа Аввакума», составленное им в двух редакциях, несколько толкований на различные псалмы и другие сочинения догматического и полемического характера и несколько десятков посланий к разным лицам. В этих многочисленных произведениях ярко отразились как основные идеи того умственного движения, представителем которого являлся Аввакум, так и их постепенная модификация. С этой точки зрения их содержание представляет большой интерес, рельефно обрисовывая внутреннюю жизнь раскола в первые годы его существования.

* * *

Успех Аввакума в роли апостола раскола объяснялся, впрочем, не только идейным содержанием его проповедей, но и личными его свойствами как писателя и проповедника. Эти свойства его, в свою очередь, заслуживают известного внимания.

Начать с того, что Аввакум обладал значительной, по своему времени, начитанностью и умело пользовался ею. Правда, начитанность эта носила односторонний характер, не простираясь за пределы св. писания и примыкавших к нему книг церковного характера и популярных сборников, заключавших в себе житии святых, сказания и апокрифы, но в этих пределах она была несомненна. Обладая громадной памятью, бывший юрьеvecкий протопоп знал наизусть всю Псалтирь, помнил массу мест из других книг Ветхого и Нового завета и с большою ловкостью пользовался этими знаниями для подбора текстов в доказательство своих положений. Последние почти всегда имели у него вид как бы непосредственно из Писания вытекающих истин, и читателю, не в такой мере знакомому с духовной литературой, и мало способному внимать в смысл приводимых тестов, должны были пред-

ставляться основанными на прочном фундаменте непреложного учения церкви. Ловко подбирая и истолковывая тексты в свою пользу, Аввакум не с меньшею ловкостью нападал на своих противников. Толковал ли он Книгу Бытия, Псалмы или Премудрость Соломона, он всегда находил случай перейти к Никону и его реформе, не стесняясь тем, что такой переход являлся подчас совершенно неожиданным и неподготовленным. При этом он каждое изменение, совершенное Никоном в русских церковных книгах и обрядах, возводил на степень ереси, открывая сокровенный смысл в таких подробностях, в которых, казалось бы, ничего подобного нельзя было найти. Правда, наряду с этой начитанностью в области церковной литературы и недюжинным полемическим талантом протопоп обнаруживал глубокое невежество, сообщая самые диковинные сведения по части истории, географии и естественных наук, но и аудитория, к которой он обращался, в громадном большинстве не ушла дальше тех же сведений, заимствованных из старинных хронографов и сборников.

Большое значение имел в произведениях Аввакума и самый язык писателя. Яркий, образный, переполненный смелыми сравнениями, отражающий в себе все оттенки чувства и настроения, то нежный, то сжатый и энергичный, часто блестящий искрами неподдельного юмора, он вместе с тем не заключал в себе и тени ничего искусственного, книжного, а был как бы прямо из уст народа перенесен на бумагу. Это обстоятельство делало писания Аввакума равно понятными и дорогими для знатного и образованного боярина и плохо знающего грамоту крестьянина и было особенно важно в ту эпоху, когда литература образованного общества уже стала выделяться из собственно народной. В то время, как в произведениях ученых противников Аввакума преобладала сухая, книжная форма изложения, подавлявшая читателя громадным количеством иностранных слов и массой риторических оборотов, нередко почти совсем затемнявших смысл, язык Аввакума блещет своей простотой и удобопонятностью, лишь изредка встречаются в нем иностранные слова и везде, не исключая и сочинений догматичес-

кого характера, он отличается замечательной жизненностью и энергией. Присущая ему простота выражается не только в лексическом составе его и в оборотах, но и в самом содержании, в характере тех образов и сравнений, какие подбирает писатель для уяснения своей мысли, сравнений, берущихся им из сферы самых обыденных явлений современной ему жизни и потому всегда понятных для читателя и тем сильнее на него действующих. Сообразно нравам века, простота эта часто переходила, правда, в грубость, а временами приобретала даже оттенок цинизма.

С особенной рельефностью все отмеченные черты проявляются в экзегетических произведениях Аввакума, и для иллюстрации сказанного достаточно будет привести из них два более крупные примера. Растолковывая в одном из своих произведений («Списание и собрание о Божестве и о тваре, и како создал Бог человека») историю первых людей, как она изложена в Библии, Аввакум так рассказывает об искушении Евы змием и его последствиях:

«Змия же, отклоняся от Адама, прииде ко Еве, — ноги у нее и крылья были, хорошей зверь, красной была, докамест не своровала. И рече Еве те же глаголы, что и Адаму. Она же, послушав змия, приступи ко древу, взем резн и озоба его, и Адаму даде: понеже древо красно видением и добро в снедь, — смоков красная, ягоды сладкие, слова меж собою льстивые! Они упиваются, а дьявол в то время смеется. Увы невоздержания! Увы небрежения заповеди Господня! Оттоль и доднесь в слабоумных человеках так же лесь творится. Подчивают друг друга зельем нерастворенным, сиречь зеленым вином процеженным и прочим питьем и сладкими брашны, а опосля и посмевают друг друга, упившегося до пьяна. Слово в слово, что в раю было при дьяволе и при Адаме. Паки Бытия: И вкусиста Адам и Ева от древа, от него же Бог заповеда, и обнажистася. О, миленькие! Приодети стало некому! Ввел дьявол в беду, а сам и в сторону! Лукавый хозяин накормил, напоил да и с двора спихнул: пьяной валяется на улице, ограблен, — никто не помилует! Паки Библия: Адам же и Ева сшиста себе листве смоковишное от дерева, от него же вкусиста, и прикрыста срамоту свою, и скрыстася, под древо возлегоста. Проспалися бедные с похмелья, ано и самих себе сором: борода и ус в блевотине... со здоровных чаш кругом голова идет и на плечах не держится! А ин отца и честнова сын, пропився на кабак, под рогожею на печи валяется! Увы

тогдашнева Адамова безумия и нынешних адамленков! Паки Бытия... И паки рече Господь: что сотворил еси? Он же отвеча: жена, юже ми даде! Просто реши: на што-де мне такую дуру сделал! Сам не прав, да на Бога же пеняет! И ныне похмельные тоже, шпыняя, говорят: на што Бог сотворил хмельет! Весь пропился и есть нечего! Да меня же де избили всего! А иной говорит: Бог де судит его, — до пьяна упоил! Правится бедной, будто от неволи так сделалось, а беспрестанно желает того. На людей переводят, а сами ищут тово. Что Адам переводит на Еву».

В другом случае, приведя евангельскую притчу о богатом и бедном Лазаре, Аввакум продолжает:

«Видите ли, братие, како смири его мука? Прежде даже пред очима не видел Лазаря гнойна; а ныне зрит издаличе и мил ся дает ко Аврааму, а Лазарю говорит сором, понеже не сотворил добра ничтоже. Возьми — пойдет Лазарь в огонь к тебе с водою. Каков сам был милостив: вот твоему празднеству отдание! Любил вино и мед пить, и жареные лебеди, и гуси, и рафленные куры: вот тебе в то место жару в горло, губитель души своей окаянной. Я не Авраам, — не стану чадом звать: собака ты! За что Христа не слушал, нищих не миловал? Полно, милостивая душа, Авраам-от милинкой, — чадом зовет да разговаривает, быт-то с добрым человеком. Плюнул бы ему в рожу-ту и в брюхо-то толстое пхнул бы ногою!» («Беседа о наятых делателях»).

Слова, несомненно, в весьма значительной степени служат отражением понятий и нравов. Тем не менее было бы крупной ошибкой на основании приведенного счесть Аввакума грубым, жестким и циничным человеком. Данный способ выражения принадлежал не ему лично, а всей окружавшей его среде, и был усвоен им из последних, составив внешнюю оболочку его произведений. Но под этой неуклюжей оболочкой часто сквозило нежное чувство, как под грубой аскетической внешностью самого писателя скрывалось любящее сердце. Как в догматических и полемических произведениях Аввакума выступают наружу его своеобразная эрудиция и недюжинные диалектические способности, как его проповедь и поучения отличаются своей простотой, меткостью наблюдений и энергией выражений, так в наставлениях, обращенных им к ближайшим своим ученикам, яркую характерную черту составляет глубоко любовное отноше-

ние к последним, поразительная деликатность в обращении с их чувствами. Он так мягко и нежно дотрагивается в этих случаях до душевных ран человека, так умеет соединить порицание и даже наказание с ободрением и поддержкой, что в нем пришлось бы признать замечательно тонкого психолога, если бы для объяснения этой нравственной чуткости у нас не имелось более простого пути в признании его человеком с богато развитой духовной организацией, с глубоко любящим сердцем. В одном из своих посланий к Морозовой, писанном в то время, когда последняя уже томилась в боровской земляной тюрьме, он вспоминает о сыне ее Иване, который еще ребенком умер в Москве после ее ссылки, и о котором мать сильно тосковала. Здесь Аввакум умеет найти самые нежные, за душу берущие выражения...

«Увы, чадо мое! — восклицает он. — Увы, мой свет, утроба наша возлюбленная, — твой сын плотский, а мой духовный! Яко трава, посечен бысть, яко лоза виноградная с плодом, к земле преклонился и отыде в вечные блаженства со ангелы ликовствовати и с лики праведных предстоит святей Троицы. Уж к тому не печется о суетной многострастной плоти, и тебе уже некого четками стегать, и не на кого поглядеть, как на лошадки поедет, и по головки некого погладить, — помнишь ли? — как бывало. Миленькой мой государь! Впоследнее увиделся с ним, егда причастил его. Да пускай — Богу надобно так! И ты не больно о нем кручинься: хорошо, право. Христос изволил. Явно разумеем, яко царствию небесному достоин. Хотя бы и всех нас побрал, гораздо бы изрядно. С Федором (повешенным на Мезени юродивым) там себе у Христа ликовствуют, — сподобил их Бог! А мы еще не вемы, как до берега доберемся».

Другой раз, отправляя послание в московскую общину и налагая тяжелую эпитимию на одну из своих учениц, старицу Елену, за разлучение жены с мужем, Аввакум так заключает свой приговор:

«Слушай-ко, игумен Сергей! Иди во обитель Меланьи матери и прочти сие писанное с Духом Святым на соборе Елене при всех, да разумеют сестры, яко короста на ней, даже не ошелудивеют от нее и удаляются ее. А ты, Меланья, не яко врага ее имей, но яко искреннюю. И все сестры спомогайте ей молитвами. Друг мой миленькой, Еленушка! Поплачь-ко ты

хорошенько пред Богородицею-светом, так она скоренько очистит тебя. Да ведь-су и я не выдам тебя: ты там плачь, а я здесь. Дружнее дело: как мне покинуть тебя? Хотя умереть, а не хочу отстать. Елена, а Елена! С сестрами теми не сообщайся: понеже они чисты и святы. А со мною водися: понеже я сам шелудив, не бою я твоей коросты, — и своей много у меня! Пришли мне малины. Я стану есть, — понеже я оглашенный, ты оглашенная, — друг на друга не дивим, оба мы равны. Видала ли ты? Земские ярышки друг друга не осуждают. Тако и мы».

Так, даже осуждая за тяжкий грех и налагая суровое наказание, бывший протопоп вместе заботится о том, чтобы не поселить уныния в душе ученицы, и, отчуждая ее от общения с верными, умышленно ставит себя на одну доску с грешницей, наказывая, вместе и ободряет. При таком отношении к ученикам Аввакум не без основания говорил им: «Не имать власти таковые над вами и патриарх, яко же аз о Христе, — кровию своею помазую душа ваша и слезами помываю». Насколько резкие обличения никонианства и смелая проповедь могли привлекать людей к расколу, настолько же эта нравственная чуткость к чужим страданиям и деликатное врачевание душевных скорбей должны были прочными узами приковывать к Аввакуму сердца его учеников.

Зато не остается у Аввакума и следа нежности и снисходительности, как только он имеет дело не с обычным прегрешением, а с тем, что, по его понятиям, представляет собою ересь. В таких случаях он пользуется всем богатством бранных выражений в русском языке, обильными потоками изливая на людей, разошедшихся с ним во мнениях, крепкие слова, умышленно доводя свой язык до крайней степени грубости, невыносимо режущей современное ухо. Для никониан у него нет других выражений, как «воры», «страдники», «прелагатаи», «собаки», «шиши антихристовы» и другие, совершенно непередаваемые современною печатью слова. Тот же способ выражений сохраняет он, обращаясь и к своим единомышленникам, с которыми не согласился в чем-нибудь, относящемся к вопросам веры. «Не помышляй себе того, дурак, — писал он к одному ослушавшемуся его ученику, — еже от Бога тебе, кроме покаяния, помиловану быти; но из-

волися Духу Святому и мне предати тя сатане в озлобление, да дух твой спасется: да придет на тя месть Каинова, и Исавова, и Саулова, да пожжет тя огонь, яко содомлян, аще не зазришь души своей треокаянной. Кайся, трехглавный змий, кайся!.. Собака, дура!»... «Федка, а Федка! — обращался он в другой раз к дьякону Федору, разошедшемуся с ним в понимании догмата Троицы, — Ох, б... сын! Собака косая! Дурак, страдник... Гордоуст, алгмей! Собака!..»

Такие и подобные им ругательства и проклятия, которыми щедро осыпал Аввакум своих противников, имели свои источником не только грубость нравов эпохи и несдержанность самого проповедника; происхождение их в равной мере коренилось в общем взгляде последнего на еретиков и необходимое отношение к ним. Но это приводит уже нас к вопросу о самом учении Аввакума и мы попытаемся теперь передать его главнейшие черты.

* * *

Исходным пунктом всего этого учения послужила реформа Никона, произведшая, по мнению Аввакума, переворот в русской церкви и вовлекшая ее в пагубную ересь. «Как он царя причастил антидором, — говорит протопоп в одном из своих сочинений, — так с тех мест возьми да понеси, да ломай все старое, давай новую веру римскую и прочая ереси клади в книги; а кто обрящется противен, того осуждай в ссылки и в смерти, сажай живых в землю». Сообразно этому протопоп с крайнею враждою относился и к личности Никона, осыпая бывшего патриарха самой дикой бранью и всячески стараясь унижить и оскорбить его. В этих видах Аввакум приписывал Никону инородческое происхождение, говоря, что отец его был черемисин, а мать татарка, обвинял его в колдовстве, посредством которого он будто бы и обошел Алексея Михайловича, сравнивал его с антихристом и, наконец, даже прямо заявил, что «никонианский дух самого антихриста дух». Дальше сравнений он не шел, впрочем, в этом отношении и решительно отказывался считать Никона антихристом, утверждая, что он только «предотеча» последнего. Так или иначе, но именно через

Никона и благодаря его действиям, проникла в Московское государство ересь, которую Аввакум характеризовал следующим образом: «Нарядна она, в царской багрянице ездит и из золотой чаши подчивает. Упоила римское царство и польское, и многие окрестные реши, да и в Русь нашу приехала в 160 году...»

Эта ересь, введенная Никоном и заключающаяся в перемене веры на новую, римскую, перешедшая из римского и польского государств, выразилась в изменениях церковных обрядов и богослужбных книг. В ряду первых едва ли не наиболее важное место принадлежало, по мнению Аввакума, установлению троеперстия. Старинный православный обычай заключался, по уверению протопопа, в двоеперстии и нарушение его, скрывая в себе глубокий и пагубный смысл: увлекать людей в вечную гибель. «Отвергли никониане, — писал он по этому поводу, — вечную правду церковную, не восхотели пятию персты, по преданию святых отец, креститься, но некак странно тремя персты запечатлешася в сокровищи всегубителя, — глаголю, печатью запечатлевшася антихрисловою, в ней же тайна тайнам бе: змий, зверь и лжепророк. Всяк, тремя персты знаменаяся, не может разумети истины, омрачает бо у такого дух противный ум и сердце его. В другом случае Аввакум дал своей мысли еще более распространенное и определенное объяснение. «Всяк бо, крестяся тремя персты, кланяется первому зверю папезу и второму русскому, вторя их волю, а не Божию; или реши: кланяется и жертвует душою тайно антихристу и самому дьяволу. В ней же бе, шепоти, тайна сокровенная: зверь и лжепророк, сиречь: змий — дьявол, а зверь — царь лукавый, а лжепророк — папез римский и прочие подобни им». В таком освещении троеперстие представлялось уже не простым изменением обряда, согласованным с практикой других православных церквей, а искажением сущности веры, служением самому антихристу и папе римскому, следовательно, неискупимым грехом. «Велия бо язва и неисцельна, — утверждал протопоп, — от трех перстов бывает души: лучше бо человеку не родиться, нежели тремя персты знаменатися»; всякий, крестящийся тремя перстами, «будет мучен огнем и жупелом».

Однозначным с изменением крестного знамения представлялось Аввакуму и изменение формы креста в изображении из восьмиконечного на четвероконечный. Соглашаясь с тем, что и четвероконечный крест находится в церкви «по преданию святых отец». Аввакум решал, однако же, что он может быть допуская «только на ризах, и на стихарях, и патрахилиях, и пеленах, идеже положиша отцы». «А иже кто, — продолжал он, — его учинит на просфирах или напишет на нем образ распятого Христа и положит его на престоле вместо тричастного: таковой мерзок есть и непотребен в церкви, подобает его изринуть. Почто на владычнем месте садится? Раб он Христову кресту или предотеца. Знай свое место, не восхищай Господские части». Но и на этом условном лишь признании четвероконечного креста Аввакум в конце концов не отступался и, не задумываясь перед резким противоречием, в том же самом сочинении своем обзывал эту форму креста то «римским», то «польским крыжем» и угрожал признающим его: «в пекл пойдеси, в огонь неугасимый».

Подобным же образом осуждал протопоп и вновь введенную Никоном трегубую аллилуйю. «До Василия (Великого), — писал он по этому поводу, — пояху в церкви ангельские речи: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Егда же бысть Василий и повел пети две ангельские речи, а третью человеческую, сиче: аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! У святых согласно, у Дионисия и у Василия, — трижды воспевающе со ангелы славим Бога, а не четырежды, по римской бл... и. Мерзко Богу четверичное воспевание сичево; аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! Да будет проклят вице поюще». «Велика в аллилуйи хвала Богу, — прибавлял он, — а от зломудрствующих досада велика, — по римски Святую Троицу в четверицу глаголют, Духу от Сына исхождение являют: зло и проклято се мудрование Богом и святыми».

Не меньшее негодование возбуждала в Аввакуме установившаяся было в Москве итальянская манера иконописания, которая в противоположность византийской школе вносила в священные изображения долю реализма. «Пишут Спасов образ Емануила, — гневно иронизировал протопоп, — лице одутловато, уста червонная, власы куд-

рявые, руки и мышцы толстые, перси надутые, тако же и у ног бедра толстые, и весь, яко немчин, брюхат и толст учинен, лишь сабли-той при бедре не написано». «А все то, — повторял он при этом удобном случае. — Никон враг умыслил будто живые писать. А устрояет все по фряжскому, сиречь по немецкому». Следует заметить, впрочем, что на этот раз враг патриарха был совершенно не прав в своих нападках: Никон не только не был поклонником этой реальной школы иконописания, которая создавалась в Москве задолго до него, но являлся, наоборот, деятельным ее противником. В представлении Аввакума, однако, все изменения русской церковной обрядности неразрывно сплелись с именем Никона. Попытку последнего исказить чистоту русского православия Аввакум усматривал и в совершении службы над пятью просфирами вместо семи, которые употреблялись раньше. И здесь он находил тот же самый источник реформы — римскую веру, проникшую в Москву благодаря Никону, и, не имея возможности доказать непосредственную связь этого изменения с обычаями католической церкви, утверждал, по крайней мере, что оно служить лишь началом, а затем служба будет совершаться и на одной просфире, и притом не кислой, а опресноке, к чему будто бы и стремятся «папа с Никоном преснолюбцы».

Изменения в иноческом быту в виде замены круглых клобуков монахов плоскодонными и ношение широких ряс равным образом являлись в глазах Аввакума знаменем ереси, пришедшей в православную церковь извне. «Бысть в лета наша, — писал он, — в русской земли Божие попущение, а дьяволе злохитрие, изникоша из бездны мниси, нареченные монахи, имеющие на себе образ любодейный, камилавки подклейки женские и клобуки рогатые. Получиша себе сию пагубу от костела римского». Рассказывая при этом известный анекдот о женщине, сделавшейся римским папою, Аввакум именно ей и приписывал введение такой формы клобуков. Если последние представляли собою заимствование из католической церкви, то широкие рясы были, по его словам, введены в видах потворства телесной похоти и в этом смысле также составляли отступление от отеческих

преданий. Иноку заповедано всегда глядеть в землю, памятовать страсти Господни и истощать свою плоть, вновь же введенная монашеская одежда представляла полную противоположность этим заветам. По словам проповедника, современные ему иноки «Богом преданное скидали с голов и, волосы, расчесав, чтобы бабы любили их, выставляя рожу всю, да препояшется по титкам, воздевши на себя широкий жупан». «Наг ты, — обращался Аввакум к одетому таким образом монаху, — благодати стал и Христовых страстей отвергся. На женскую подклейку платьишко наложил, да я — де су иннок, Христовым страстем сообщник! Подобаает истинному иноку дела Христу подобитися, а не словесы глумными, и так творить, якоже святии. Помнишь ли? Иоанн Предотеча подпоясывался по чреслам, а не по титькам, поясом усменным, сиречь кожаным; чресла глаголются, под пупом опоясатися крепко, даже брюхо-то не толстеет. А ты, чреватая женка, не извредить бы в брюхе ребенка, подпоясываешься по титькам! Чему быть! И в твоём брюхе-то не меньше ребенка бабья наложено беды-той, ягод мигдалных, и ренскова, и романей, и воево подпоясать! Невозможное дело ядомое извредить в нем! А се и ремень надобе долог!»

Такой же горячий протест вызывали, наконец, со стороны Аввакума и изменения в написании имен, искаженных русскими переписчиками или принявших с течением времени на Руси особую форму и восстановленных никоновскими справщиками в первоначальном виде. С нескрываемою враждою встречал он и все вообще изменения в языке и обычаях, хотя бы и не входившие в собственно церковную сферу. «Не только святые книги изменили, — жаловался он на никониан, — но и ризы, и мирские обычаи, и вещи, и пословицы, и имена преложили: глаголют бо Христа Исуса — Иисусом, Николу чудотворца — Николаем, — той бо Николай при апостолах еретик бысть, а великий чудотворец бысть при царе Константине. Еще же прелогатаи нарицают Иванна именем женским, пишуще без титла Анною. Вся сия Богови грубо, не подобает бо своего языка уничижать и странными языки украшать речь»...

Итак, благодаря Никону, русскую церковь охватила пагубная ересь, выразившаяся в целом ряде изменений

церковной обрядности и жизни, причем эти изменения проявились в двух направлениях: место прежнего строгого благочестия и истинно христианской жизни заступили испорченность нравов, потворство плоти и угождение страстям: место древних обрядов и догматов православных заняли новые, еретические, заимствованные из чужих, неверных стран. Уделяя немало места обрисовке первой стороны, строго проводя аскетический идеал, отождествлявшийся им с христианским, и указывая на несоответствие ему действительности, Аввакум однако же главное свое внимание обращал на вторую сторону никонианства, причем исходным пунктом его критики всегда являлась старина, «старые святыя книги», старые обряды, малейшее отступление от которых в его понимании влекло за собою ересь. Но, следя за применением им этого общего положения на практике, нельзя избавиться от тягостного и досадного недоумения при виде тех мелочей, на которые исключительно направлена мысль проповедника, и тех противоречий, в которых беспомощно и, по-видимому, безысходно запутывается она. В самом деле, отчего можно три раза подряд славословить Бога, а тот, кто произнесет славословие в четвертый раз, будет проклят? Отчего четвероконечный крест признается в одном случае и отвергается с проклятиями в другом? И, главное, отчего всем этим мелким обрядовым различиям придается такое громадное значение? Чтобы найти ответ на эти вопросы, необходимо ближе подойти к основам мировоззрения проповедника, и прежде всего, рассмотреть, что представляла из себя та старина, на которую он так часто ссылался и против изменений которой так ратовал.

До некоторой степени это определяется уже общим отношением Аввакума к изменениям в церковной сфере. Через все его обличения реформ Никона красною чертою проходило стремление связать эти реформы с латинством, с учением и практикой римской и польской церквей, с «фряжскими» или «немецкими» порядками; даже в тех случаях, когда не находилось уже решительно никаких данных для установления этой связи, он пытался создать ее путем совершенно произвольных предположений, в

дальнейшем ходе мыслей принимаемых за доказанные истины. Таким образом, все современные ему изменения церковной обрядности понимались им как заимствования от иностранцев, и обобщались под именем римской, польской, или немецкой веры. «Ох, ох, бедная Русь! — восклицает он. — Чего-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев?» То же самое отношение сквозило и в эпитетах, какие он придавал виновникам и сторонникам церковной реформы, в названии их «другими немцами русскими».

Русское православие противопоставлялось, таким образом, в представлении Аввакума, иноземной ереси. Согласно этому представлению, правая вера сохранилась только в московской Руси, исчезнув во всех других странах, не исключая Греции и Малороссии, где православие уцелело только по имени, будучи на деле давно искажено латинской ересью. Москва, единственная из всех государств древнего и нового мира, успела удержать у себя правую веру и потому все отличия от практики православной церкви, установившиеся на Руси, приобретали характер признаков преимущественного правоверия. Это сохранение веры во всей ее чистоте придавало Москве значение «Третьего Рима», главы православного мира, и понятно, что при таком воззрении, в котором религиозная исключительность сливалась с национальным самонадеянием, мало оставалось места для каких-либо исправлений русской церковной жизни на основании практики других православных церквей.

Такой результат еще усиливался самым понимаемым правоверием. В последнем Аввакум усматривал две стороны: сохранение неизменными всех догматов и обрядов церкви и соблюдение строгого благочестия в жизни. Но как первое сводилось у него почти всецело к обрядовой стороне, к наблюдению за тем, чтобы «где что положили святые отцы, там бы оно и пребывало неизменно», так второе при его аскетическом настроении переходило в полное почти отречение от мира, в жизнь, отрешенную от всякого плотского наслаждения, от всякой не церковной радости. «Детей своих учите, Бога для, неослабно страху Божию; играть не велите. Ох, светы мои! Вся мимо

идут, токмо душа вещь непременно», наставлял он своих учеников и давал им ряд подобных советов, как устроить жизнь по правилам благочестия.

Согласно этим советам, вся жизнь в ее целом, как церковная, так и общественная и частная, должна была управляться предписаниями религии и стремиться исключительно к удовлетворению религиозных интересов; рядом с высшей религиозной истиной не оказывалось места ни для какой другой, хотя бы даже и в подчиненном по отношению к первой положении. Человеческий разум не только всецело поглощался догмой в области религии, где ему предстояло лишь хранить завещанное веками предание, но и не имел для себя вообще никакого поприща самостоятельной деятельности, так как все, не входившее в церковную сферу, решительно отвергалось. Всякая попытка проникнуть в таинства природы являлась с этой точки зрения опасным дерзновением, бесплодным и даже вредным умствованием, близким к ереси. «Не все судьбы Бога человеку надобно ведать, — увещевал верных Аввакум, — полно и того, что (Бог) на земле наделал и дал знать. И от того человек, что пузырь раздувается; а как б небесная-то ведал, и он бы равен был дьяволу». Поэтому светская наука, не имевшая своих корней в религии, признавалась исключительно наследием языческих времен и предавалась проклятию. Язычники «достигоша с сатаною разумом своим небесных твердей и звездное течение по-разумевше», а христиане «достигают не мудрости внешние подразумевати и лунного течения, но на самое небо восходят смирением». «Никониане так-то христиан губят, — прибавлял проповедник, — научают роскошному житию и астролог прочитатъ, богоотступное дело — беги небесные читать». В сущности же, всякая вообще наука должна быть чужда истинному христианину. «Не ищите риторики и философии, ни красноречия, — поучал протопоп, — но, здравым истинным глаголам последующе, поживите. Понеже ритор и философ не может быти христианин, — Григорий Ниский пишет».

«Аз есмь, — писал в соответствии с этим Аввакум о своей собственной учительской деятельности, — ни ритор, ни философ, дидаскалства и логофетства не иску-

сен, простец человек и зело исполнен неведения. Сказать ли, кому я подобен? Подобен я нищему человеку, ходящу по улицам града и по окошкам милостыню просящу. День той скончав и препитав домашних своих, на утро паки поволокся. Тако и аз, по вся дни волочась, собираю и вам, питомникам церковным, предлагаю: пускай ядше веселимся и живи будем. У богатого человека Христа из евангелия ломоть хлеба выпрошу, у Павла апостола, у богатого гостя, из посланий его хлеба крому выпрошу, у Златоуста, у торгового человека, кусок словес его получу, у Давида царя и у Исаи пророка, у посадских людей, по четвертине хлеба выпросил; набрав кошель, да и вам даю, жителям в дому Бога моего. Ну, ешьте на здоровье, питайтесь, не мрите с голода, я опять побреду собирать по окошкам. Аще мне надают, добры до меня люде-те, помогают моей нищете, — а я паки вам бедненьким поделюсь, сколько Бог даст». Только одна мудрость и ценна для христианина — религиозная, но и здесь дело не в исследовании, а в усвоении и сохранении неизменной готовой истины.

Такое мировоззрение, отдельные части которого были тесно связаны между собою и которое слагалось из проникновения всех жизненных отношений религиею, понимаемой притом преимущественно с внешней ее стороны, не допускало никакого воздействия на жизнь народа извне. Всякое признание преимущества в чем-либо другого народа, неправильности того или другого порядка у себя дома сравнительно с иноземцами посягало и на ту идею исключительно русского правоверия, на которой держалось все мирозерцание проповедника, и вот почему Аввакум так упорно держался за всякую мелочь и проявлял столько озлобления в самых ничтожных, по-видимому, вопросах: отказаться от подробности значило вместе своими руками подорвать и общую идею. «Не передвигаем вещей церковных с места на место, — заявлял он. — Идеже святии положища что, то тут и лежи. Иже что, хотя малое, переменить, да будет проклят». Возможность иной точки зрения для русского человека совершенно не представлялась его уму, и поэтому осуждение его взглядов было в его глазах равносильно осужде-

нию всей русской церкви, посрамлению всего ее славного прошлого, возвысившего ее над всеми другими. «То ли наша великая вина, — в глубоком недоумении спрашивал он, — еже держим отец своих предание неизменно во всем? Аще мнится им дурно сие: подобает им извергнути от памяти прежде бывших царей и патриархов и всех русских святых. За что они нам после себя оставили книги сия, за них же мы полагаем душа своя! Аще ли им памяти честне творять и святых русских почитают всех, их же мы уставы и предание неизменно держим: за что же нас мучить и губить?» Странными и дикими представлялись Аввакуму при таком положении дела проклятия, обрушившиеся на него со стороны русских иерархов. «А что вы нас клянете, — говорил он, — и мы тому смеемся. И ребенок засмеется вашему безумию. Коли нас за старину святую проклиная, — ино и отец вам и матерей подобает своих проклинати, в нашей вере измерших».

Мало убедительными оказывались для Аввакума в виду его руководящих принципов и возражения, производившие особенности русской церковной жизни от невежества прежних иерархов и призывавшие склониться перед ученостью греков и малороссов. В его глазах православие и невежество скорее могли быть синонимами, чем православие и наука, и он с особенной, понятной только с точки зрения всего его миросозерцания, иронией противопоставлял невежд русских ученым грекам. «Русские бедные, пускай глупы, рады мучителя дождались, полками в огонь дерзают за Христа Сына Божия-Света. Мудры б... дети греки, да с варваром турским с одного блюда патриархи кушают рафленные курки. Русачки же миленькие не так, — в огонь лезет, а благоверия не предаст?»

Исправления, сопровождаемые ссылками на практику иных церквей и на авторитет чужестранных ученых, уже в силу одного этого основания своего, подрывающего учение об исключительном русском правоверии, приобретали в сознании Аввакума вид ереси, готовой поглотить и последний народ, оставшийся еще чистым от нее, одержать победу над православием в последнем его убежище. «Иного же отступления нигде не будет: везде бо бысть; последняя Русь здесь», — писал он. Мотив религи-

озный в его протесте, таким образом, не только сливался с национальным, но в значительной мере и вытекал из последнего. Не грекам, которые «потеряли своего царя», так как отреклись от «благочестия», предстояло учить чему-либо русских людей; лишь из Москвы мог изливаться на народы свет православия и всякое действие, знаменовавшее собою отступление от этого общего взгляда, как бы оно ни было мелко по внешности, открывало собою и начало ереси.

Связь «царства» и «благочестия» имела, впрочем, в понимании ревнителя русской старины еще и другое значение. Правоверие не определялось, по его взгляду, личным разумом отдельного человека, но вместе с тем судьба этого правоверия не зависела и от свободной воли отдельных членов церкви. Охрана его возлагалась на иерархию, которая и должна была наблюдать за действиями и мнениями своей паствы, ведя последнюю по правому пути и требуя от нее беспрекословного повиновения; так поступал сам Аввакум, будучи священником, того же требовал он и от других. Но обязанности такой охраны лежали, на его взгляд, не только на духовной иерархии, а и на светской, по крайней мере, в лице главного ее представителя, царя: последний должен был заботиться о чистоте веры своих подданных и отвечал за них перед Богом. К царю, как к верховному охранителю православия, и обращался Аввакум в одном из своих посланий: кто бы решился порицать русскую церковь, «аще бы не твоя держава попустила тому быти?» Таким образом, главную роль в деле религии для него играло не внутреннее самоопределение человека, а внешняя принудительная сила власти, церковной и светской, которая получила при этом в свои руки и соответствующие средства.

Всякое отступление от определяемых религией правил, совершалось ли оно в области практической жизни или в сфере теоретической мысли, неизбежно должно было, по воззрению протопопа, повлечь за собою наказание, причем это последнее не ограничивалось собственно духовными мерами, но распространялось на телесную природу преступника. В руках священника, как пастыря душ, находилось не только духовное оружие, но и палки, цепи

и т.п., и те же самые средства должны были служить и светской власти при защите ею веры. Грубая сила являлась средством для поддержания церковной дисциплины, она же служила охраной и для самой веры. По отношению ко всякого рода еретикам проповедовалась полная нетерпимость и преследование их вменялось в обязанность и духовной иерархии, и светской власти. Так, в послании к Алексею Копытовскому, одному из учеников своих, Аввакум советовал ему побить палкой другого раскольника за неправильные его мнения и грозил проклясть последнего, если он не исправится. Проклятие — крайняя мера со стороны лица духовного, но упорных еретиков должно передавать затем в руки светской власти, которая обязана казнить их. Это общее положение Аввакум применял и к никонианам. «Воли мне нет да силы, — жаловался он в одном из своих посланий, — перерезал бы, что Илья пророк, студных и мерзких жеребцов всех, что собак»... При такой фанатической нетерпимости, не останавливавшейся перед требованием смертной казни за убеждения, идеальным носителем государственной власти в глазах проповедника являлся не кто иной, как сам царь Грозный. Говоря о Никоне, Аввакум замечал: «как бы добрый царь, повесил бы его на высокое древо... Миленькой царь Иван Васильевич скоро бы указ сделал такой собаке»... Эту идеальную в его глазах фигуру прошлого Аввакум мечтал увидеть и в настоящем.

«Ведаю разум твой, — обращался он к Алексею Михайловичу в своих «Толкованиях на псалмы», — умеешь многими языки говорить: на што в том прибыли? С сим веком останется здесь, а о грядущем ничимже пользуется. Воздохни-тко постарому, как при Стефане бывало, добренько и рцы по русскому языку: Господи, помилуй мя грешного? А Кириелейсон-от оставь: так ельняне говорят; плюнь на них! Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек! Говори своим природным языком; не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах. Как нас Христос научил, так подобает говорить. Любит нас Бог не меньше греков; предал нам и грамоту нашим языком Кириллом святым и братом его. Чего же нам еще? Разве языка ангельского? Да нет, ныне не дадут, до общего воскресения. Да еще бы и ангельски говорил, Павел рече, любве же не имам, бых яко медь звеняща или кимваль бряцающая, — бараба-

ны ваши!.. А ты, миленькой, посмотри-тко в пазуху-ту, царь христианский! Всех ли христиан-тех любишь? Нет больше, отбеже любовь и вселися злоба. Еретиков-никониан токмо любишь, а нас, православных христиан, мучишь, правду о церкви Божией глаголящах ти. Перестань-ко ты нас мучить тово. Возьми еретиков-тех, погубивших душу твою, и пережги их, скверных собак, латынников и жидов, а нас распусти, природных своих. Право, будет хорошо...»

Итак, религиозная и национальная исключительность, распространение религии, понятой узко и односторонне, на все сферы жизни, проповедь аскетизма и отречения от свободы личного разума и от светской науки, наконец, нетерпимость, доходящая до апофеоза грубейшего насилия, — таковы были основные черты мирозерцания Аввакума, тесно связывавшие его с предшествовавшим историческим моментом. Но применять и проповедовать это мирозерцание Аввакуму пришлось в обстановке, незнакомой его предшественникам. Благодаря этому и проповедь его не могла остановиться на первой своей стадии — обличения еретической новизны и защиты старины. Те реальные условия, в каких очутился раскол с момента своего возникновения, очень скоро заставили проповедника переступить грань, лежавшую между защитой старого порядка и организацией нового.

В самом деле, после того, как ревнители старины потерпели неудачу в своих претензиях на официальное господство, они оказались в положении, вызывавшем целый ряд новых вопросов теоретического и практического характера. С того момента, как русская церковь отказалась от мысли о своем исключительном правоверии, она потеряла в их глазах значение православной. Но это поражение православия в последнем его убежище могло быть объяснено лишь наступлением царства антихриста, за которым должна была последовать кончина мира. Весьма многие из защитников старины и усмотрели в Никоне антихриста, пришедшего в мир ради исполнения пророчеств и уничтожения правой веры. Однако на долю предполагаемого антихриста не досталось господства.

Русская церковная старина была проклята в роковом 1666 году ровно через 666 лет после первого тысячелетия

по Рождестве Христа; согласно указаниям Кирилловой книги, через 1000 лет после Рождества Христа совершилось отступление римской церкви от православия, а через 660 лет после того следовало ждать отступления русской церкви и еще через 6 лет полного ее падения. В этом пункте пророчества сбывались. Но тот же собор, который наложил это проклятие, низверг Никона с патриаршего престола. В виду последнего обстоятельства, не соглашавшегося с приписываемою Никону ролью, многие из ревнителей старины видели в Никоне не более, как предтечу антихриста, царство которого должно было еще наступить в близком будущем. Этого последнего мнения держался и Аввакум.

Ожидая скорой кончины мира, объясняя действия Никона и последовавшей за ним светской власти «духом антихриста» и порою не воздерживаясь даже от искушения применить к ним пророчества о последнем, он тем не менее решительно утверждал, что «не пришел еще он, последний черт», хотя и «скоро уже будет». Так как таким путем кончина мира отодвигалась еще на некоторое время, то в ожидании ее верным предстояло определить возможные отношения с церковью, устроить свой внутренний быт применительно к новым условиям, отторгшим его от общего церковного тела, наконец, установить руководящие принципы жизни на будущее время. В эту сторону, под влиянием постоянно поступающих к нему запросов, должен был направить свою проповедническую деятельность и Аввакум.

Первое место в ряду подобных вопросов, созданных обстоятельствами, которые сопровождали образование раскола, как отдельной религиозной общины, лишенной связи с церковью, занял вопрос об отношении раскольников к православным или, употребляя терминологию партии, к «никонианам». На этот вопрос Аввакум давал вполне точное и определенное решение, вытекавшее из самого понимания им «никонианства». «Паче прежних еретик никониан», — говорил он и в строгом согласии с этим общим взглядом устанавливал формы отношений к ним. «Христианину сушу, — по его словам, — подобает удаляться их; не токмо жертвы, но и селения их поганы

суть и древних еретиков поганее». «Не водись с никонианы, — писал он в другой раз, — не водись с еретиками; враги они Богу и мучители христиан, кровососы, душегубцы».

По его советам, следовало избегать не только мирных и дружеских сношений с никонианами, но и всяких прений о вере, хотя бы даже такие прения не носили прямо враждебного характера. «Беги от еретика и не говори ему ничего о правоверии, — предписывал на этот случай Аввакум, — токмо плюй на него. Аще он когда и мягко с тобою говорит, отклоняйся его, понеже ловить тебя; даже наведет беду душевную и телесную». Идеалом являлось, таким образом, полное отчуждение от никониан, причем оно должно было бы распространяться как на церковную, так и на частную жизнь. Этот общий принцип в житейской практике встречался, однако, с таким случаем, к которому он не мог быть применен без предварительных оговорок и дополнений. Раскольники даже тогда, если бы они захотели всецело осуществить такое отчуждение, не могли совершенно избежать столкновений с никонианами, не могли отгородиться от них так же прочно, как отгораживалась русская церковь в ее целом от иноземного влияния, так как это зависело не только от их воли. Православная иерархия, поддерживаемая силою светской власти, вмешивалась в их жизнь, требовала подчинения себе, и таким образом возникал вопрос, как быть с этим вмешательством, какого рода меры практиковать по отношению к воинствующему православию.

Наилучший выход из этого положения указывал Аввакум во мученичестве, на которое деятельно и возбуждал своих учеников, радуясь, что «русская земля освятилась кровию мученическою». «Само царствие небесное валится в рот, — писал он, — а ты откладываешь, говоря: дети малы, жена молода, разориться не хочется!.. Ну, дети-те переженишь и жену-ту утетишь; а затем что? Не гроб ли? И та же смерть, да не такова: понеже не Христа ради, но общей всемирной конец». Смерть за веру была концом, наиболее достойным христианина, по мнению протопопа, даже в том случае, когда эта смерть не наносилась непосредственно гонителями, а являлась результатом

самоубийства, если только к последнему человек прибежал без боязни не устоять перед мучениями, «да цело и непорочно соблюдет правоверие». Получив первые известия о самосожжении раскольников, Аввакум отнесся к нему с большим одобрением, величая умерших «самовольными мучениками». «Вечная им память во веки веков! — прибавлял он. — Добро дело содеяли — надобно так. Рассуждали мы между собою и блажим кончину их».

Но при всем своем ригоризме Аввакум был все же слишком практическим человеком, чтобы не видеть, что такой исход — мученичество за открытое исповедание веры — доступен лишь для отдельных личностей, представляющих более или менее редкие исключения из общей массы, и это вынуждало его смягчить тон проповеди. Для тех, кто не мог понести подвига отстаивания старой веры во всей его полноте, проповедник рекомендовал поэтому дорогу компромисса — «надлежащего ради страха аще плотски и соединяться с никонияны, но внутрь горением гореть о истине Христов, ее же ради отцы и братия наша стражут и умирают». Раз став на эту точку зрения, протопоп с обычною прямою доводил свою мысль до конца, досказывая все детали и не оставляя никакого места для сомнения. Подавая верным советы на тот случай, как вести себя, если придется исповедоваться у православного священника, он говорил: «И ты с ним в церкви сказки сказывай, как лисица у крестьянина куры крада: прости-де, батюшка, я-де не отгнал; и как собаки на волков лают: проти-де, батюшка, я-де в конуру собаки-той не запер. Да он, сидя, исповедает, а ты ляг перед ним, да и ноги вверх подыми, да слюни пусти, так он и сам от тебя побежит: черная-де немочь ударила». Не менее характерные советы давал протопоп на тот случай, если православный поп придет в дом раскольника со святой водой. «А с водою-тою как он придет, так ты во вратех-тех яму выкопай, да в ней роженья натычь, так он набрушится тут, да и попадет. А ты охай, около его бегая, будто ненароком. А буде который яму-ту перелезет и, в дому-том быв, водою-тою намочит, а ты после его вымети метлою, а ребята тем вели по запечью от него спрятаться. Он кропит, а ты рожу-то в

угол вороти, или в мощню в те поры полезь, да деньги ему давай. А жена бы, и она собаку из-под лавки в поры гоняй, да кричи на нее. Он ко кресту зовет, а она говори: бачко, недосуг, еще собаку выгоняю, тебя же заест. Да осердись на него, раба Христова, — бачко, какой ты человек»... «А в чем погрешится, — прибавлял Аввакум, — и ты кайся перед Господом Богом! Где же деться? Живые могилы нет»...

Другой вопрос, выдвинувшийся вперед при образовании раскола, касался церковной иерархии и таинств. Разорвавши с иерархией православной церкви, раскольники и сами оказались в крайне затруднительном положении, так как их церковные общины остались без верховного пастыря и не могли получить его никаким правильным путем. Отсюда для раскола уже сразу приобрели крайне серьезное значение вопросы о священстве и таинствах, настойчиво требуя того или иного решения. Некоторые из раскольников пытались решить их, доказывая, что за отступлением иерархии исчезла и действующая через нее благодать, почему не могло быть более ни правильно поставленных попов, ни правильно совершаемых таинств, и на этом основании совершенно отрицали, например, причащение. Аввакум, однако же, энергично восстал против такого крайнего решения. «А кои не причащаются люди, — писал он, — и они делают не гораздо, своим умыслом говорят: взята-де благодать. И после антихриста, последнего черта, благодать-та не покинет верных своих... Как-то так дерзко глаголют, что не обрящеши святых таин. Только то и людей святых, что будто одни мы, а то все погибли; миленькие батюшки, добро ревность по Бозе, да знать ей мера». По его мнению, благодать сохранилась в церкви и таинства остаются действительными, если только они совершаются людьми, право верующими, и с соблюдением всех праведных обрядов; поэтому в никонианской церкви нет таинств в настоящем их виде; ни причащение, ни крещение, ни другие таинства, совершаемые никонианами, не имеют силы: причащая, никониане «Бесом жрут, а не Богови», «крещение еретическое несть крещение, но осквернение», но дело здесь все-таки не в исчезновении благодати, а в еретических обрядах, мешающих ей проявиться.

Не так определенны были взгляды Аввакума в вопросе о священстве. Он с недоумением спрашивал, правда: «как же миру быть без попов?», доказывал, что благодать сохранилась и в священстве, и лишь печалился, что большинство «старопоставленных» до Никона попов, услугами которых могли пользоваться раскольники, хотя временно уклонялись в никонианство, «а лучше тех ныне и не возможно обрести правого священства». Тем не менее факт отступничества таких священников претил его прямой натуре, и он разрешал прибегать к ним только в крайней нужде: «кроме же нужи никакоже от них не принимай, понеже слабодействоваша в догматах»; в других же случаях он прямо советовал обходиться без попов, говоря, что «можно иноку, простцу и простолюдину искренним таинством причащаться», равно как совершать и другие таинства. Такое решение было тем естественнее, что попов, получивших постановление после Никона, Аввакум не считал уже правыми священниками, и таким образом количество последних оказывалось весьма ограниченным. Тем не менее, учение его в этом пункте оставалось не вполне выясненным и определенным, нося несколько двусмысленный характер и заключая в себе как бы зародыши обоих главных толков позднейшего времени, поповщины и беспоповщины.

Третьим общим вопросом в судьбе раскола, по которому приходилось Аввакуму, ввиду обращенных к нему настояний, высказывать свой приговор, были споры в среде самих раскольников. Раз возникшее движение не застыло в одной определенной форме, но по мере своего распространения, принимая в себя все новые элементы, сообразно их свойствам видоизменяло несколько и свой характер. Под общим знаменем оппозиции православной церкви объединялись различные стремления, раскол дробился на отдельные толки, и члены этих последних во взаимных отношениях проявляли ту же резкую нетерпимость, какую управлялись их действия относительно никониан. Аввакум обыкновенно порицал такую вражду и старался сдерживать ее проявления. «Тело наше, — писал он по этому поводу, — без души есть кал, и пепел, и прах, а вы уже друг друга гнушаетесь и хлеба не едите

вместе, глупцы, гордитесь друг другом, а все одна земля и пепел». Но самые споры являлись в его глазах неизбежными и даже полезными, так как они способствуют выяснению истины. «А что противятся друг другу, — писал он в другой раз, — пускай так! Тако истина и правда больше сыскивается... Грызитесь гораздо! Я о сем не зазираю. Токмо праведне и чистою совестью разыскивайте истину». Такой взгляд не протирался, однако, у Аввакума на всю область богословских споров, а имел свои определенные и довольно узкие границы. Каждый раз, когда спорящие стороны касались вопроса, находившего, по мнению протопопа, свое решение в старине, он требовал безусловного признания последней. Сообразно с этим он с решительным осуждением относился ко всем учениям, которые возникали, по его мнению, из иноземной веры; так, он резко порицал не признававших иконы, как подражателей лютеран и кальвинистов; в этих случаях он от убеждения слушников быстро переходил к угрозам наложить на них проклятие за еретические мнения.

Это рвение к старине не оберегло, однако, самого Аввакума от уклонения в ересь. При глубоко реалистическом направлении его ума, мало подготовленного к усвоению догматических тонкостей, для него оказалось достаточно опечатки одной из старых книг, в которой Троица была названа «трисушной», чтобы отступить от некоторых догматов и учений православия. Он начал именно отрицать единосущность Троицы и, утверждая, что в ней три существа, как три лица, вместе с тем отделял Иисуса Христа от третьего члена Троицы. Из-за этого учения между пустозерскими узниками поднялась большая распря, так как Епифаний и Лазарь приняли сторону Аввакума, дьякон же Федор восстал против него. В пустозерской тюрьме благодаря этому разыгрывались тяжелые сцены: Аввакум совместно с Лазарем проклинал Федора и подушал против него тюремную стражу, с помощью которой завладел даже оправдательными сочинениями Федора и уничтожил их. «Что се, Господи, будет? — спрашивал доведенный до отчаяния Федор. — Там на Москве клятвы все власти налагают на меня за старую

веру и на прочих верных, и здесь у нас между собою клятвы и свои друзья меня проклинаят за несогласие с ними в вере же, во многих догматах, болши и никонианских!» И после смерти Аввакума эта часть его учения продолжала вызывать сильные споры между раскольниками, закончившиеся тем, что она была отвергнута, как несогласная с учением церкви.

Но не только в области церковных догматов Аввакум незаметно для самого себя сошел с почвы защищаемой им русской старины. С течением времени и некоторые другие стороны его мировоззрения испытали весьма существенные видоизменения. Говоря о таких изменениях, нельзя, правда, точно указать ни времени их возникновения, ни последовательности, в какой они появлялись, так как хронология сочинений Аввакума, по крайней мере, по отношению к значительному большинству их, до сих пор не установлена и едва ли может быть восстановлена при имеющихся данных. Но если мы не можем соблюсти строгой хронологической последовательности в изображении изменений взглядов Аввакума, то не представляется никакого затруднения в определении тех реальных условий, которые были непосредственной причиной этих изменений.

С того момента, как безусловные защитники русской церковной старины потерпели решительное поражение в разгоревшейся борьбе партий, их попытки всецело удержаться на почве этой старины и сохранить всю систему прежних взглядов встретили серьезные препятствия в фактическом положении, созданном для них обстоятельствами. В состав понятия старины входили, между прочим, признание власти церковной иерархии в делах веры над паствой и присвоение царю значения верховного охранителя православия, облеченного властью для наказания еретиков. Но все главные представители церковной иерархии, одни раньше, другие позже, стали на сторону никонианства, примкнула к последнему и светская власть, а раскольники очутились в положении преследуемой партии. Все те громы, которые они призывали на своих противников, обрушились теперь на их собственные головы: церковные иерархи и светская власть равно возму-

тились против них, равно клеймили их именем еретиков, сыпали на них увещания и угрозы, пытки и казни. При таком обороте дела оставление в силе прежних убеждений по данным вопросам создало безысходное противоречие в учении раскольников, совершенно невыносимое в практической жизни, и, по мере того, как суровая действительность отнимала у них всякую надежду на перемену настроения властей в их пользу, среди них делала успехи и мысль о необходимости перестройки данных сторон учения в связи с изменившимися условиями. Попытки такой перестройки были сделаны и Аввакумом, выразившись в изменении его взглядов на значение иерархии и на средства религиозной пропаганды.

То обстоятельство, что ему на практике пришлось встать против церковной иерархии и вступить в борьбу с нею, привело его и в теории к отрицанию ее авторитета. Предвестником такого отрицания явились советы благочестивым со стороны Аввакума признавать не всякого попа, но только такого, поведение и учение которого по рассмотрению окажутся согласными с истиной. В дальнейшем Аввакум стал уже решительно отрицать безусловный авторитет иерархии в решении вопросов веры, нападая как на признававших этот авторитет, так и на самих иерархов. В разгаре борьбы он говорил про последних, что они людьми «яко кабальными обладали, что они велят, то и творят: так-де нам государи патриархи указали, на них-де Бог положил то дело». «А который Бог? Скажи-тко, простолюдин, разве бог тьмы ослепил сердца ваши, еже не воссияти вам истины и правды? Прозри, безумне! Болишь слепотою неразумия!.. Али ты чаешь, потому святы нынешние законоположники власти, что брюха-те у них толсты, что у коров, да о небесных тайнах не смыслят, понеже живут скотски и ко всякому беззаконию ползки? Или на то глядишь, что они вздыхают? Не гляди на вздохи-те их! Воздыхает чернец, что долго во власти не поставят, а как докупится великие власти, вот уже и вздыхать перестанет».

Дольше, по-видимому, держался Аввакум за другой аналогичный тезис, провозглашавший верховную власть царя в церкви, тем более, что и разочаровавшись уже в

иерархии, он все еще хранил надежду на обращение Алексея Михайловича в «старое благочестие». Но время шло, а то, что казалось ему первоначально временным ослеплением царя, не только не проходило, но принимало все более прочный характер, переход царя на сторону никонианства становился все очевиднее. При этих условиях нельзя было продолжать проповедь подчинения царской власти в религиозных вопросах, не отказываясь от своего учения или не становясь в полное противоречие с ним, и Аввакум резко переменял свою точку зрения в этом вопросе. «В коих правилах писано, — спрашивал он в одном из последних своих сочинений, — царю церковь владеть и догмат изменять, святая кадить?» Ограничивая таким образом власть царя в делах церковных, Аввакум не касался, однако, его светской власти и, напротив, оговаривался, что этой последней он не думает «восхищать». Та же осторожность сказалась у Аввакума и по отношению к личности царя: отвечая на вопросы своих учеников, следует ли молиться за царя, он советовал молиться за живого, на обращение которого еще можно питать надежду, но на молитвах за умершего, по крайней мере, не настаивал, а иногда даже решительно отвергал их. Такое ограничение авторитета церковной и светской иерархии в религиозных вопросах неизбежным последствием своим имело некоторое освобождение личного разума. Правда, оно не могло быть ни полным, ни даже особенно значительным, так как в основании всякого вопроса полагался все-таки принцип старины, но, по крайней мере, в определении этой старины главная роль отводилась уже личной деятельности человека. Прежде всяких дальнейших шагов в этом направлении предстояло закончить устранение насильственной опеки над совестью человека путем отрицания самых средств грубого насилия в деле религиозной пропаганды, и мысль Аввакума под влиянием испытаний, вынесенных им самим и его товарищами от противников, действительно обратилась в эту сторону.

В его пустозерских произведениях местами попадаются как бы слабые проблески идеи веротерпимости, принявшие, наконец, уже довольно законченную форму в знаменитом месте «Жития», так мало гармонирующем с су-

ровым и непримиримым фанатизмом его автора. «Чудо, — говорит он здесь про никониан, — как-то в познание не хотят придти! Огнем, да кнутом, да виселицею хотят веру утвердить! Которые-то апостолы научили так? — не знаю. Мой Христос не приказал нашим апостолам так учить, еже бы огнем, да кнутом, да виселицею в веру проводить. Татарский бог Магомет написал в своих книгах сице: непокоряющихся нашему преданию и закону повелеваем их главы мечом подклонити. А наш Христос ученикам своим никогда так не повелел. И те учителя явны яко шиши антихристовы, которые, приводя в веру, губят и смерти предают: по вере своей и дела творят таковы же».

Таковы те стадии, на которых мы можем проследить развитие религиозной и общественной мысли Аввакума. Последние из них являются при этом далеко не столь резко очерченными и определенными, как первые: даже в тех самых сочинениях, из которых заимствованы только что приведенные цитаты, имеются другие места, стоящие в противоречии с ними, проводящие старые взгляды, и особенно трудно в этом смысле дается Аввакуму идея веротерпимости, в конце концов и усвоенная им только в форме отрицания казней за веру. Старые идеи глубоко укоренились в уме проповедника и не легко поддавались трансформации.

Во всяком случае, в этих колебаниях вождя раскола отразилась и общая судьба того движения, руководителем которого он был. Появление на почве русской действительности фактов, противоречивших господствовавшей ранее идее исключительного национализма, повело к критике последнего, которая вынудила его представителей точнее формулировать свои взгляды и свести их в более строгую и стройную систему, а в дальнейшем породила борьбу двух противоположных мировоззрений. В этой борьбе лица, желавшие сохранить в целости все прежнее религиозно-националистическое мировоззрение, замкнулись в рамки раскола, и лишь позднее это чисто идейное движение было осложнено политическими и социальными факторами, первоначально в нем отсутствовавшими. Тем не менее значение раскола уже на первых порах его существования не исчерпывалось одною реакцией

религиозно-общественного характера: факт образования отдельной религиозной общины, ставшей вне связи с церковной иерархией и вызвавшей против себя преследование со стороны светской власти, не только повлек за собою изменения во внешней организации церковных отношений в этой общине, но и породил в умах ее членов новые представления и идеи о церкви и государстве, в свою очередь, ставшие в противоречие даже с теми сторонами старого порядка, которые находили себе полное признание у противников раскола. В этой стороне раскола коренились уже слабые зародыши будущего сектантства — проповедника свободы человеческой мысли в религиозной и общественной сфере.

С этой точки зрения чрезвычайно характерна и полна глубокого трагизма и личная судьба Аввакума. Он хотел идти заодно с церковной иерархией и встал к ней в оппозицию, приведшую к извержению его из церкви, искал союза с государственной властью, а последняя вооружилась против него. Его идеи не успели совершить такого быстрого и крутого поворота, какой произошел в его фактическом положении, и благодаря этому, в его произведениях нередко звучала нота тяжелого и скорбного недоумения. В общем он представлял собою один из ярких типов того переходного времени, когда господствовавшая раньше в обществе система становилась достоянием оппозиционной партии. Если бы он победил в начатой им борьбе, он был бы гонителем не менее, если еще не более, беспощадным и жестоким, чем те, которые гнали и мучили его самого; но на его долю досталась роль побежденного, и в этой роли он приобрел себе место в истории. Как защитник националистического мировоззрения, он принадлежит старому времени, как проповедник веротерпимости — новому.

* * *

Годы шли за годами, а в положении пустозерских узников не происходило никакой перемены. По-прежнему были они заключены в четырех стенах своей тюрьмы, по-прежнему не было никакого просвета в их мрачной судьбе. Даже Аввакум, сначала еще питавший надежду на

скорое освобождение, постепенно утрачивал ее. Проходили годы, совершались важные перемены в Московском государстве, умер царь Алексей, вступил на престол сын его Федор, а тяжелое заключение все тянулось и не предвиделось ему конца. Как ни силен духом и крепок телом был Аввакум, но и его закаленная в бедствиях натура подалась под тяжестью этого испытания, ставшего, наконец, невыносимым при его шестидесятилетнем возрасте.

В 1681 году он написал и отправил к царю Федору послание, которое беспорядочностью мыслей и резкою неровностью тона ясно выдавало не совсем уже нормальное состояние узника. Начиналось это послание крайне смиренно. «Благого и преблагого и всеблагого Бога нашего благодатному, устроению, блаженному и треблаженному и всеблаженному государю нашему свету, светилу русскому, царю и в. кн. Федору Алексеевичу, не смею нарещися богомолец твой, но яко некий изверг и непричастен ногам твоим, издали вопию, яко мытарь: милостив буди ми, Господи!.. Помилуй мя странного, утранишагося грехами Бога и человек, — помилуй мя, Алексеевич, дитячко красное церковное! Тобою хочет весь мир просветиться, о тебе люди Божия расточенные радуются, яко Бог нам дал державу крепкую и незыблему. Отради ми, отрасль царская. Отради ми и не погуби меня со беззаконии моими... Зане ты еси царь мой и аз раб твой; ты помазан елеем радости, а аз обложен узами железными; ты, государь, царствуешь, а аз во юдоли плачевной плачуся».

Но не за себя только просил Аввакум и, моля о милости и освобождении, не отказывался он от подвига всей своей жизни. «Аще не ты по Господе Бозе, — продолжал он, — кто нам поможет? Столпи поколебошася наветом сатаны, патриарси изнемогоша, святителие падорша и все священство еле живо, Бог весть, али и умроша... Спаси, спаси их, Господи, ими же веси судьбами!» И непосредственно за этими смиренными мольбами прорывалась дикая вспышка фанатического изуверства и накопившегося за долгие годы бессильного раздражения: «А что, царь-государь, как бы ты мне дал волю, я бы их, что Илья пророк, всех перепластал в один день. Не осквернил бы

рук своих, но и освятил, чаю». Среди дальнейших, беспорядочно набросанных фраз послания Аввакум вспомнил и об Алексее Михайловиче. «Бог судит, — говорил он, — между мною и царем Алексеем. В муках он сидит, — слышал я от Спаса; то ему за свою правду. Иноземцы, что знают, что велено им, то и творили. Своего царя Константина, потеряв безверием, предали турку, да и моего Алексея в безумии поддержали...»

В недобрый час пришла Аввакуму мысль написать это послание. При московском дворе мало уже осталось тех его доброжелателей, которые так долго отводили от него конечную беду, да и те, которые были еще пощажены временем, или уже совсем одряхлели, или потеряли свой вес и значение со вступлением на престол молодого царя. Сам этот царь не был связан, как его отец, с раскольниками ни узами личной дружбы, ни общностью взглядов: воспитанный киевским монахом Полоцким, наученный польскому языку и с охотой читавший на нем книги, он являлся уже представителем поколения, выросшего на идеях реформы, чуждого того мучительного колебания, которым для предшествовавшего поколения сопровождался разрыв с идеями и порядками старины. При таких условиях осужденный собором старик раскольник, выступавший с резким осуждением как церковной реформы, так и всякого общения с иноземцами, решавшийся поносить память покойного царя, не мог рассчитывать ни на помилование, ни на сожаление. «За великие на царский дом хулы» приказано было сжечь и Аввакума, и его товарищей по заключению. 14 апреля 1682 года казнь эта совершилась и жизнь, представлявшая собою почти непрерывный ряд страданий и мучений, закончилась на костре.

Казнь завершила дело, начатое ссылкой Аввакума, дорисовав его значение в глазах современников и ближайшего потомства. Для раскольников он являлся теперь не только мужественным проповедником, но и мучеником их дела, и этот подвиг мученичества в сознании многих подкреплял и освящал самое дело, ради которого он был предпринят. Такое отношение к Аввакуму осо-

бенно ярко обнаружилось во время спора, разделившего было раскольничьи общины вскоре после его смерти и возбужденного отголосками его же проповеди. Выше мы упоминали, что Аввакум явился создателем еретического учения о трисущности Троицы; наравне с остальными пунктами его проповеди и этот был усвоен наиболее ревностными его последователями, в особенно значительном количестве населившимися керженские скиты, где главою их сделался старец Онуфрий.

Здесь почтение к памяти Аввакума проявлялось в особенно благоговейных формах: раскольники писали иконы его и поклонялись им; сочинения своего учителя, и в том числе особенно его полемические «письма» к дьякону Федору, украшали богатыми бархатными переплетами, хранили в церквах у образов и почитали почти как евангелие. Ересь, заключавшаяся в этих произведениях, скоро, правда, нашла себе отпор в самой раскольничьей среде: именно руководители московской общины, в которой было больше людей с богословским образованием, выступили с обличением заблуждений Аввакума уже в 1693 г. и успели добиться их осуждения в Москве. Но на Керженце не хотели признавать этого постановления и долго еще продолжали упорно отстаивать святость и правоту Аввакумова учения: «добры письма, говорили здесь, страдалец бо их писал»; «светлее солнца письма Аввакумовы», заявляли наиболее ревностные из керженских скитников в самой Москве.

Раскол разделился на две партии: на строгих последователей Аввакума, прозванных «онуфриевцами», и на отвергавших православие некоторых его произведений, которые получили в устах противоположной партии имя «кривотолков».

Уважение к имени и страданиям бывшего протопопа было, однако, так велико, что даже эти противники его учения относились к нему далеко не с обычной у них в подобных случаях страстностью: полемизируя с ересью Аввакума, они старались не только не задевать, но, по мере возможности, даже совсем выгородить из спора его личность, охотно предполагая, вопреки очевидности, что спорные письма и не принадлежат Аввакуму или что он

от них впоследствии отказался. Но даже и такая полемика, сосредоточенная исключительно на самом вопросе, независимо от личности человека, его возбудившего, не достигала своей цели: под давлением московских раскольничьих богословов Онуфрий и его приверженцы соглашались отвергнуть все, что было в «письмах» несогласного с божественным писанием, но непосредственно вслед затем, припертые к стене вопросами о самых письмах, они заявляли, что «не токмо единой строки, но ни чертицы несходной несть в письмах Аввакумовых, но все в них сходно с божественным писанием». Потребовалась новая, еще более серьезная, уступка со стороны защитников догматов, чтобы склонить противников к признанию своего мнения.

Возникший раздор был прекращен своего рода компромиссом, в силу которого Онуфрий и его приверженцы обязывались никогда не читать и не толковать спорных писем Аввакума, но последние и не подвергались никакой хуле или проклятию, а только «отлагались», т.е. изымались из обращения. Только под этим условием, и то лишь в 1710 году, восстановлен был мир внутри раскольничьей общины. Так ревностно охраняли ученики Аввакума его имя от всякого нареkania, так бережно вынуждены были относиться к этому имени даже те из раскольников, которые видели в Аввакуме человека, увлекшегося в ересь. И в дальнейших поколениях раскольников, среди которых уже не могло возникнуть спора по существу поднятого Аввакумом догматического вопроса, с течением времени, правда, и забывшегося, за протопопом оставался эпитет «многострадального мужа». Еще Денисов характеризует его, как «мужа огнепальные ревности, доброго страдальца, иже, ревнуя о благочестии, всюду свободным языком проповедаше».

Не забыли Аввакума и с другой стороны. В 1717 году арестован был в Москве, по обвинению в тайном исповедании раскола, мужик Иван, оказавшийся на следствии сыном бывшего юрьевецкого протопопа. В течение многих лет томился он с матерью и братом в тяжком заключении на Мезени, пока, наконец, его не освободило отсюда заступничество кн. В.В.Голицына, который и сам в то

время находился уже в опале и через Мезень проезжал в место своей ссылки — Холмогоры. Его слово имело еще вес у двоюродного брата его, кн. Бориса Алексеевича Голицына, стоявшего тогда во главе правительства, и, благодаря ему, семья казненного протопопа получила свободу. Прожив несколько лет в Москве, Иван опять попал, однако, в руки властей и на этот раз уже не мог освободиться. Напрасно он заявлял, что он «в вере православной и в церкви православной католической... в соединении быть хочет до кончины жизни своей непременно», что он у исповеди бывал и св. тайн причащался, а «крестное знамение полагает он на себе трехперстное первых перстов», напрасно проклинал раскольников и подтверждал, что «отца своего Аввакума за православно-го не приемлет и вменяет его за сущего святей церкви противника и всех злых дел его отрицается». Слава отца громко говорила против сына, и призрак могучего протопопа заслонял в глазах судей мелкую фигуру Ивана Аввакумова. Дело о последнем все тянулось, и, наконец, Ивана, несмотря на все его оправдания, решили «отослать в монастырь дальний, куда надлежит, на вечное житье». Только что успели, однако, назначить местом его ссылки Кириллов монастырь, как 7 декабря 1720 г. Иван Аввакумов, «будучи в С.-Петербургской крепости за караулом, умре».

Оглавление

ПРОТОПОП АВВАКУМ. ЖИТИЕ	5
В.А.Мякотин. Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность ...	63
I. Умственное состояние русского народа в эпоху появления раскола	67
II. Жизнь Аввакума до первой ссылки.....	83
III. Жизнь в Тобольске и Даурии	106
IV. Возвращение в Москву и новое удаление из нее	123
V. Собор 1666/67	143
VI. Жизнь в Пустозерске. Литературная деятельность Аввакума. Казнь его	157

ПРОТОПОП АВВАКУМ. ЖИТИЕ .

В.А.Мякотин. Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность

Редактор

Игорь Захаров

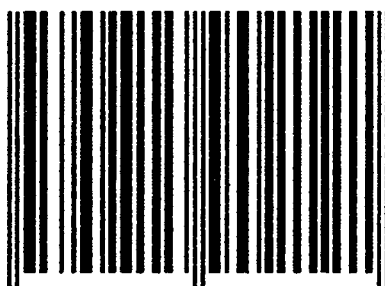
Художник

Алексей Кокорекин

Верстка

Кирилл Лачугин

ISBN 5-8159-0212-8



9 785815 902121

Директор издательства Ирина Евг.Богат

Издатель Захаров

Лицензия ЛР №065779 от 1 апреля 1998 г.
121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9
(Рядом с Никитскими воротами,
отдельный вход в арке)

Тел.: 291-12-17, 258-69-10

Факс: 258-69-09

E-mail: zakharov@dataforce.net

Подписано в печать 25.12.2001. Формат 84x108/32. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Бумага «Novel». Усл. печ. л. 10,92. Тираж 3000 экз.
Изд. № 212. Заказ № 8.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

Классический русский диссидент, проповедник и ревнитель православия, идеолог и практик раскола в православной церкви, глава старообрядчества протопоп Аввакум Петрович (1620–1681) восстал против новшеств патриарха Никона, и за это его сослали в Сибирь, держали 14 лет в земляной тюрьме в Пустозерске и в конце концов прокляли на Соборе и за упорство сожгли с двумя товарищами по заключению.

Имел массу сторонников в народе и среди знати, от боярыни Морозовой до царя Федора Алексеевича.

В этой книге впервые печатается современный перевод его знаменитой автобиографии.

«Житие протопопа Аввакума» — непревзойденный образец меткого, сильного, живого русского языка.

«Отбор и расположение материала подчинены не столько житийной схеме, сколько логике жизни и идейной борьбы. Автобиографические и исповедальные части чередуются с лирическими размышлениями и воспоминаниями, литературными портретами друзей и врагов, фрагментами религиозной полемики, видениями и др. «Житие» — история души человека, поднявшегося на борьбу за свои убеждения, причем изображение героя (он и «святой», и «грешник») дается на широком фоне жизни России второй половины 17-го столетия». В книгу также включена лучшая по сей день биография, написанная историком Венедиктом Александровичем Мякотиным (1867–1937).